М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ





М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ



Москва
«Художественная литература»
1975

Р1
С16

Текст печатается по изданию:

М. Е. Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в двадцати томах, т. 16, книга вторая. М., «Художественная литература», 1974.

Вступительная статья и примечания
К. ТЮНЬКИНА

Художник
А. ЗЫКОВ

С $\frac{70301\text{-}256}{028(01)\text{-}75}$ 25-75

ПОД ИГОМ «ТЕРЗАЮЩИХ МЕЛОЧЕЙ»...

Мы привыкли видеть в Салтыкове-Щедрине сурового сатирика, «обличителя» язв общественной и политической жизни самодержавной России. Конечно, Салтыков-Щедрин — прежде всего сатирик. «Ювеналов бич» — его главное и грозное оружие — клал свою «неизгладимую печать» на «лица бесстыдно-бледные» и «лбы широко-медные» царских бюрократов и буржуазных хищников[1].

Но сатирическое творчество Салтыкова-Щедрина, обращенное своим острием, своим беспощадным жалом в сторону столпов самодержавного режима, его ревнителей и охранителей, «бичевавшее» помещичью реакцию и паразитизм «чумазых» (буржуа), было творчеством гуманистическим, глубоко человечным. Сатирические герои потому им и «бичуются», что они — виновники многовековой трагедии, переживаемой русским народом, народной массой.

Человек этой массы, крестьянин, и вообще «обыкновенный средний человек» — жертва, лицо страдательное в фантасмагории реакции и хищничества, он

---

[1] О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
. . . .
О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать! *(Пушкин)*

ни в чем не повинен, он гибнет, задавленный «мелочами» повседневного бытия.

Сатира по отношению к такому герою излишня или, по крайней мере, сфера ее применения ограничена. Здесь требуются другие принципы и приемы художественного изображения, здесь нужно проникновение «в глубины души человеческой», души страдающей и гибнущей, души, искалеченной жизнью. «Тема о заступничестве за калечимых людей очень благодарна, — писал Салтыков-Щедрин одному из своих корреспондентов незадолго до начала работы над «Мелочами жизни», — но нужно ее развить и всесторонне объяснить. Ведь недаром же она не разрабатывается...» Тема эта недаром не разрабатывается, — подчеркнул писатель, — и в самом деле, ведь ее разработка требует от художника величайшей смелости — смелости беспощадно вскрыть самые основы современной жизни, ее трагическую неурядицу, вскрыть причины, калечащие человека, лишающие человеческое существование всякого смысла...

«Мелочи жизни» написаны в восьмидесятые годы (1886—1887), когда, после потрясений, испытанных самодержавием в предшествующие десятилетия, — крестьянской реформы, народнического движения, убийства Александра II, — царская власть, по-видимому, упрочилась, приобрела известную устойчивость. Один из критиков того времени писал: «Восьмидесятые годы были годами полного общественного затишья; жизнь начала однообразно и монотонно течь день за днем, бедная выдающимися событиями. Ничто уже в такой степени не волновало, не увлекало, не выводило из себя, как прежде. Понятно, что и характер, и тон сатир Салтыкова значительно изменились: на место саркастического, желчного смеха прежних произведений является теперь величаво эпическое, степенное созерцание, исполненное то глубокой скорби, то вос-

торженного пафоса» [1]. Другой замечал: «В «Мелочах жизни» сатирик является как бы уставшим смеяться и негодовать. Он может только грустить» [2]. Это, конечно, неверно. Критики-современники не могли не заметить того нового, что появилось в «Мелочах жизни», но не уловили самого главного, самого существенного в новой «манере» Салтыкова — сочетания остроты критического освещения общественной действительности с крайней чувствительностью к драматизму существования современного человека. Салтыков и в «Мелочах жизни» негодует, а вовсе не «только грустит», но его негодование уже не укладывается в рамки сатиры: оно касается самых основ человеческого существования, трагической безвыходности обстоятельств, делающих человека несчастным, убивающих его.

Как Л. Толстому, для того чтобы вскрыть трагическое в обыденном мелочном существовании, потребовалось обогатить свой метод художника-психолога средствами и приемами сатиры (и это он сделал в повести «Смерть Ивана Ильича», написанной почти одновременно с «Мелочами жизни»), так Салтыкову-Щедрину для этого было необходимо сочетать в некоем новом сплаве «негодование» сатиры со скорбью беспощадного — и гуманного — психологического «всеведения».

Это «всеведение» поразительно. Как бы подымаясь по общественной лестнице — от крестьянской избы до дворянской усадьбы, от каморки сельской учительницы до кабинета умирающего писателя — он, негодуя и скорбя, приходит к почти безнадежному итогу: когда человек сталкивается с проблемами жизни в ее

---

[1] А. М. Скабичевский. Беллетристы-публицисты. М. Е. Салтыков-Щедрин. — «Новости», 1889, № 116.

[2] «Критические опыты Н. К. Михайловского. II. Щедрин». М., 1890, с. 97.

изначальном и конечном смысле, когда перед ним страшным призраком встает смерть, когда он в предсмертном, «каком-то вымученном просветлении», подобно герою рассказа «Черезовы, муж и жена», задается вопросом: «Ах, зачем, зачем была дана эта жизнь?», — из омута мелочей, которому «присваивается наименование жизни», не всплывает никакого ответа. «Старцы и юноши, люди свободных профессий и люди ярма, люди белой кости и чернь, — сказано в заключающем «Мелочи жизни» очерке «Имярек», — все кружится в одном и том же омуте мелочей, не зная, что, собственно, находится в конце этой неусыпающей суеты и какое значение она имеет в экономии общечеловеческого прогресса».

В «Мелочах жизни» сопоставлены и противопоставлены разные формы и способы «жизнестроительства»: «изнурительное жизнестроительство», которому подчинено каждодневное существование русского мужика («с какой стороны подойти к этому разумному мужику? каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?»), — и бесцельное прожигание жизни; «горькое существование», когда «годы тянутся за годами, серые, полные тоски», — и счастливейшее, безмятежное бытие, когда один «белый день» сменяется другим, «совсем белым днем, без точек, без пестрины, одним словом, днем, в который, как и вчера, ничего не может случиться». Но, противопоставив эти совсем разные жизненные принципы, жизненные судьбы, жизненные итоги, Салтыков-Щедрин выносит за скобки одно: «жизнь начинается, продолжается, кончается — только и всего». Какой же во всем этом смысл?

«Мелочи жизни» — самое трагическое и, может быть, пессимистическое произведение Салтыкова-Щедрина: на исходе жизни ему довелось стать свидетелем страшной, безнадежной исторической ситуации, когда

казалось, что «история прекратила течение свое», когда перспективы будущего исчезли в непроницаемом мраке, идеалы исчерпали себя: «в самой жизни человеческих обществ произошел как бы перерыв», жизненный поток замутился, покрылся тиной. Конечно, мы знаем, что в эти 80-е годы в России уже сформировалось учение, открывавшее новые перспективы — марксистское учение. Но Салтыкову-Щедрину, как и большинству его современников, еще не дано было это увидеть.

История прекращает свое течение, свой закономерный ход тогда, думал Салтыков, когда жизнью общества в целом, и жизнью каждого отдельного человека безраздельно завладевают «мелочи», а общество и человек относятся к игу мелочей бессознательно — как к чему-то привычному, обыденному, естественному, и лишь «вымученное просветление» в последние минуты жизни открывает ужасную истину. Именно суете вокруг крох и мелочей «присваивается наименование жизни», «именно мелочи, на общепринятом языке, и называются «делом», а все остальное — мечтанием, угрозою...».

«Общее настроение общества и масс — вот главное, что меня занимает, и это главное свидетельствует вполне убедительно, что мелочи управляют и будут управлять миром до тех пор, пока человеческое сознание не вступит в свои права и не научится различать терзающие мелочи от баттенберговских», — таков один из центральных исходных тезисов салтыковского цикла, сформулированных во «Введении» к нему. В этом же «Введении», выбрав из современных газет свидетельства о многочисленных, пугающе бессмысленных мелочах, опутавших жизнь современного человека, наполнивших ее постоянным страхом перед будущим, Салтыков-Щедрин разъясняет самое понятие «мелочей жизни»: он делит их на две группы —

«мелочи постыдные», «баттенберговские», и «мелочи горькие», «терзающие». Мелкая политическая игра вокруг князя Баттенберга, посаженного на болгарский престол, — «мелочи постыдные», — заслоняет своей парадностью и шумихой мелочи горькие и терзающие — строй жизни, «порядок вещей», социальное бытие, пережившее себя, стоящее у края гибели, но еще способное вконец отравить существование миллионам человеческих существ...

Раскрывая связь и взаимообусловленность мелочей постыдных и мелочей горьких, мелочей социального бытия и мелочей отдельного человеческого существования, Салтыков видит бессмыслицу не жизни человека как человека — от его рождения до смерти, а того «известным образом сложившегося положения вещей», в котором никто не виноват, но при котором тем не менее под оболочкой «жизненной обыденности» скрываются «потрясающие драмы». Идейный и художественный смысл «Мелочей жизни» выражен именно в этой краткой формуле из рассказа «Счастливец»: «Какие потрясающие драмы могут выплыть на поверхность из омута мелочей, которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум, в минуту совершения, не трогаются ими!» Салтыков-Щедрин соотносит жизнь безликих масс и жизнь личности, «громадную душевную боль» человечества и душевную боль человека, итоги политического развития и «горький конец» одинокого существования, время истории — и дни, часы, минуты человеческой жизни...

Салтыков-Щедрин ищет в человеческой жизни такие мгновения, когда за мелочами вдруг открывается утраченный смысл, когда великие забытые слова наполняются содержанием: «Он сел против меня, взял мои руки и, не выпуская их, долго и пристально смотрел мне в глаза. И я уверен, что в эти минуты

прошлое всецело пронеслось перед ним, и он любил меня искренно, горячо. Мы оба молчали. На этот раз, впрочем, молчание было содержательнее, нежели самый содержательный разговор» («Счастливец»).

История не может остановиться навеки, погрязнуть в мелочах навсегда. Она в конце концов «проложит для себя новое, и притом более удобное ложе», — писал Салтыков-Щедрин еще в статье 1863 года «Современные призраки». Река истории, запруженная сором мелочей, сокрушит сдерживающую ее плотину, подобно тому как река, остановить которую пытались, по приказанию Угрюм-Бурчеева, глуповцы, снесла построенную ими из мусора запруду.

Человеческое существование, освобожденное из-под ига терзающих мелочей, обретет свой истинный смысл.

К. Тюнькин

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ МУЖИЧОК

Известно ли читателю, как поступает хозяйственный мужик, чтоб обеспечить сытость для себя и своего семейства? О! это целая наука. Тут и хитрость змия, и изворотливость дипломата, и тщательное знакомство с окружающею средою, ее обычаями и преданиями, и, наконец, глубокое знание человеческого сердца.

Прежде всего он начинает с самого себя, с своей семьи, с работника или работницы, ежели у него есть, с людей, созываемых на по́мочи, и т. д. И главная забота его заключается в том, чтоб этот рабочий улей как можно умереннее потреблял еды и в то же время был достаточно сыт, чтобы устоять в непрерывной работе. Первый предмет, представляющийся его вниманию, — хлеб. Он не подает на стол мягкого хлеба, а непременно черствый — почему? — потому что черствый хлеб спорее; мягкого хлеба вдвое съешь. Затем он круглый год льет в кашу не коровье масло, а конопляное, хотя первое можно найти дома, а второе нужно купить, и оно обойдется почти не дешевле коровьего — почему? — потому что, налей мужику коровьего масла, он вдвое каши съест. Свежую убоину он употребляет только по самым большим праздникам, потому что она дорога, да в деревне ее, пожалуй, и не найдешь, но главное потому, что тут уж ему не сладить с расчетом: каково бы ни было качество убоины, мужик набрасывается на нее и наедается ею до пресыщения.

одно средство, за редкими исключениями, совсем изгнать ее из насыщающего обихода.

Не менее мудро поступает он и с гостями во время пирований, которые приходятся на большие праздники, как рождество, пасха или престольные, и на такие семейные торжества, как свадьба, крестины, именины хозяйки и хозяина. Он прямо подносит приходящему гостю большой стакан водки, чтобы он сразу захмелел.

— Как поднесу я ему стакан, — говорит он, — его сразу ошеломит; ни пить, ни есть потом не захочется. А коли будет он с самого начала по рюмочкам пить, так он один всю водку сожрет, да и еды на него не напасешься.

Скотину он тоже закармливает с осени. Осенью она и сена с сырцо́й поест, да и тело скорее нагуляет. Как нагуляет тело, она уж зимой не много корму запросит, а к весне, когда кормы у всех к концу подойдут, подкинешь ей соломенной резки — и на том бог простит. Все-таки она до новой травы выдержит, с целыми ногами в поле выйдет.

Таковы характеристические черты крестьянского хозяйственного быта, те черты, которыми определяется дальнейшее его жизнестроительство. Голова скромного хозяйственного мужичка не знает отдыха; с утра до вечера она занята всевозможными устроительными подробностями. Много лежит на нем обязанностей: прежде всего нужно, конечно, определить крайний minimum, чтобы прокормить себя и семью; потом — подумать об уплате денежных сборов и отыскать средства для выполнений этой обузы; наконец, ежели окажутся лишки, то помечтать и о так называемой «полной чаше». Но расчеты его чересчур часто нарушаются. Беспрестанно встречаются экстренные расходы: то свадьба в доме, то крестины — все это составляет предмет мучительных забот. Мужику все

нужно; но главнее всего нужна предусмотрительность, уменье заблаговременно приготовиться и запастись, способность изнуряться, не жалеть личного труда, лишь бы как можно меньше истратить денег.

Деньги — это кровная язва крестьянского быта. Дома крестьянин очень мало в них нуждается — только на соль, да вино, да на праздничную убоину. От времени до времени требуется сшить девушке-невесте ситцевый сарафан, купить платок, готовый шугайчик; по возвращении из поездки в город хочется побаловать ребят калачом или баранками. В кои-то веки он купит праздничный армяк синего сукна для себя и недорогой материи на сарафан для жены. Вот и вся его домашняя денежная трата. Остальное он должен добыть на уплату всевозможных сборов.

Ради них он обязывается урвать от своего куска нечто, считающееся «лишним», и свезти это лишнее на продажу в город; ради них он лишает семью молока и отпаивает теленка, которого тоже везет в город; ради них он, в дождь и стужу, идет за тридцать—сорок верст в город пешком с возом «лишнего» сена; ради них его обсчитывает, обмеривает и ругает скверными словами купец или кулак; ради них в самой деревне его держит в ежовых рукавицах мироед. Самого его не только не тянет к мироедству, но он и способностей к нему не имеет: он просто толковый и хозяйственный мужик.

Не удивительно, стало быть, что он весь погружен в одну думу: спасти себя и присных.

И он настолько привык к этой думе, настолько усвоил ее с молодых ногтей, что не может представить себе жизнь в иных условиях, чем те, которые как будто сами собой создались для него. Он идет за возом в город, думает и в то же время ищет глазами. Подкова на дороге валяется — он ее за пазуху спрячет (найденная подкова предвещает счастие); бумажку кто-нибудь

обронил, окурок папироски — он и их поднимет; даже клочок навоза кинет в телегу и привезет домой. Сегодня клочок, завтра клочок — смотришь, ан и целый возок наберется. В городе он отстаивает себя до последней крайности, но почти всегда без успеха, потому что городская обстановка ошеломляет его; там всё бáры живут да купцы, которые тоже барами смотрят, — чуть что, и городовой к ним на помощь подоспеет, в кутузку его, сиволапого, потащат. Где ему, темному и безграмотному мужику, спастись от всех ловушек, которые специально для него расставлены? Поэтому он продает свой товар по произвольно установленной цене, наскоро кормит лошадей и, сделавши необходимые закупки, спешит засветло доехать домой. Здесь он рассчитывает себя, откладывает гроши к грошам, разглаживает и рассматривает на свет скомканные ассигнации и прячет выручку в заветную кубышку. В большинстве случаев оказывается, что получка далеко не оправдывает ожиданий.

Подобные неудачи встречаются очень часто и до боли его трогают. Но они от него не зависят: все равно, застигнут ли они его или благополучно пройдут мимо,— все равно, ему и еще, и еще придется идти им навстречу и подчиниться. Надо, стало быть, забыть о неудачах и стараться наверстать на чем-нибудь другом. И он, не успевши отдохнуть с дороги, обходит двор, осматривает, все ли везде в порядке, задан ли скоту корм, жиреет ли поросенок, которого откармливают на продажу, не стерлась ли ось в телеге, на месте ли чеки, не подгнили ли слеги на крыше двора, можно ли надеяться, что вон этот столб, один из тех, которые поддерживают двор, некоторое время еще простоит. Он берет в руки топор и до самого ужина стучит им и облаживает замеченные огрехи. Словом сказать, спасает себя.

В свое время он припасается, стараясь прежде всего вырвать то, что достается задаром, а потом уже думает

о том, чтобы как можно дешевле приобрести то, чего нельзя достать иначе, как за деньги. Летом овраг, разделяющий деревню на две половины, совсем засыхает; но в весеннее половодье он наполняется до краев водою, бурлит и шумит. Из соседней речки Пишковки заходит туда рыба: головли, ерши, язи, плотва, окуни, щуки. Заботливый хозяин пользуется этим даровым прибытком и ставит ве́рши. Он больше всего радуется щуке, которая хоть и костлява, но зато попадается крупных размеров и притом го́дна к солке впрок. Он наполняет ею все кадочки и бочонки, какие только найдутся в доме, и в продолжение всего лета лакомит себя, семью и домочадцев соленою рыбкой. Рыба тверда, почти несъедобна, но зато она спора, ее меньше съедят — и это все, что требуется доказать. Притом же на стол ставится чашка не с пустыми щами, а щи с рыбой; а это означает тороватость. Про такого мужика говорят: «он живет торовато, у него щи с рыбой едят». И работники идут к нему охотнее, и по́мочь он скорее сберет.

Весной же он запасается солониной. Прослышит, что где-нибудь корова от бескормицы еле жива, а владельца этой коровы сборами нажимают, устроится с тремя-четырьмя другими заботливыми хозяевами в складчину, и купят коровью мясную тушу за пять рублей. В ней больше костей, нежели мяса, да и мясо неуваристое, точно мочало, а все-таки мало-мало двенадцать пудов этого мяса найдется — пуд-то обойдется каких-нибудь сорок копеек. И вот у него на все лето солонины хватит. За неимением погребов, солонина зарывается в землю, но к наступлению летнего мясоеда все-таки сильно припахивает; но это делает ее еще спорее. Мужик и с запашко̀м убоину съест, но, разумеется, меньше, нежели если б она была совсем свежая. Стало быть, и тут выгода.

Главное, поддержать в исправности силы, необхо-

димые для летней страды. Не наедаться, а именно только в меру себя поддерживать. А как и чем этого достигнуть — вопрос второстепенный.

Летом мужик весь в работе. Ленивый и захудалый мужичонко — и тот не сходит с полосы, а хозяйственный мужичок просто-напросто мрет на ней. Он почти не спит; ложится поздно, встает с зарей (по вечерней и утренней заре косить траву спорее) и спешит на работу. Вечно тревожимый думою о насущном хлебе, он набрал у соседнего помещика пустошных покосов исполу и даже из третьей копны, косит до глубокой осени и только с большой натугой успевает справиться с работой. И жена, и взрослые дети — все мучатся хуже каторги; даже подростки — и те разделяют общую страдную муку. Зато в конце августа он уже может рассчитать, что своего хлеба у него хватит до масленой. Но сена вдоволь: есть чем и скотину прокормить и на сторону продать можно. Сено — главная его надежда. Земельный надел так ограничен, что зернового хлеба сеется малость; сена же он может добыть задаром, то есть только потратив, не жалеючи, свой личный труд на уборку. Мало его личного труда — он ходит по соседям, сбирает по́мочи. Обыкновенно на по́мочи выходят в праздники, а это тоже доставляет своего рода спорость: прогульных дней меньше. Все знают, что у него и рыбы, и мяса насолено, и конопляного масла непочатый бочонок стоит, и чарка водки найдется, — и идут к нему. Идут весело, с песнями, работают споро́; он в первой косе. Хотя с работы возвращаются не поздно, но на миру работа идет вдвое спорее; все-таки угощенье наполовину дешевле обойдется, нежели ту же пустошь наемными рабочими убрать. Да и хозяину веселее, когда кругом все кипит и спорится. Это, может быть, одни из редких минут, когда в нем сердце взаправду играет.

Однако к концу страды даже он начинает тощать на

работе. Лицо у него почернело под слоем въевшейся пыли; домашние еле бродят. К счастию, страда кончается: и с озимым отсеялись, и снопы с поля свезены и сложены в скирды, и последнее сено убрали. Наступает осень, иногда румяная, иногда сопровождаемая ливнями. Осень тоже имеет свою страду, но уже более снисходительную. Работают преимущественно под крышей или вблизи дома, на гумне, на огороде. Слышится стук цепов; воздух насыщается запахом созревших овощей. Но хозяйственный мужичок зорко следит за атмосферическими изменениями, потому что и сплошь румяная осень может повредить, и от слишком частых дождей хозяйство, пожалуй, пострадает. Всего лучше, ежели погода перемежающаяся — тогда его сердце успокаивается до весны. Он ходит в поле и любуется на рост озими. Но и тут уж мелькает в его голове предательская мысль: осень всклочет, да как-то весна захочет!

Что, ежели вдруг весна придет бездождная или сплошь переполненная дождями? «Пойдут на низинах вымочки — своего зерна не соберешь; или на низинах хорошо взойдет, да наверху сгорит!» — мучительно думается ему.

Но загадывать до весны далеко: как-нибудь изворачивались прежде, изворотимся и вперед. На то он и слывет в околотке умным и хозяйственным мужиком. Рожь не удается, овес уродится. Ежели совсем неурожайный год будет, он кого-нибудь из сыновей на фабрику пошлет, а сам в извоз уедет или дрова пилить наймется. Нужда, конечно, будет, но ведь крестьянину нужду знать никогда не лишнее.

Осенью он запасается на зиму. Сам с взрослыми сыновьями — целый день в лесу, готовит дрова и сучья; или молотит на гумне, справляет на зиму сбрую. Ежели найдется досуг, то для наполнения его у него есть и ремесло. Дуги на продажу готовит, бондарнича-

ет, веревки вьет. Женский персонал между тем занимается зимним припасом. Стучат сечки о корыто, наполненное ядреной капустой; солится небольшой запас огурцов, в виде лакомства, на праздники; ходенем ходит ткацкий станок, заготовляя красно и шерстяную редину, которыми зимой обшивают семью. Минуты нет отдохнуть. Даже с наступлением сумерек, при свете керосиновой лампочки (такое освещение дешевле лучины стоит), — и тут дело найдется. Большак новый лапоть плетет или старый починивает; старуха шерстяные чулки и карпетки вяжет; молодухи прядут. Благословенный труд не покидает этой семьи; он не кажется ей каторгой, а составляет естественный жизненный процесс. Поздно вечером (сидят долго, но зато встают позднее — где еще до свету!) ужинают и ложатся спать. Временно каторга прекращается.

Ночью изба представляет собою нечто вроде нестерпимой клоаки. Домочадцев скучилось так много, что и пол занят, и полати, и лавки по стенам. Изба полна смрадом и стонами этого замученного хозяйственностью люда. У мужика есть, кроме избы, и «чистая» горница, но она не топится, ради сбережения дров, и вообще в ней даже летом редко живут; она существует напоказ и открывается только в праздники. Хорошо еще, что жилая изба топится по-«черному»; утром, чуть свет, затопит хозяйка печку, и дым поглотит скопившиеся в избе миазмы. Этот дым выедает глаза, щекочет ноздри. В беспрестанно отворяемую дверь врывается холодный воздух. Сонные домочадцы, разбуженные запахом гари и холодом, вскакивают как встрепанные и бегут на крыльцо, где на веревке качается рукомойник. Зато, часа через два, когда семейный обед готов, хозяйка заботливо закутывает печь, и в избе делается светло и тепло. «Точно в раю!» — говорит она довольным голосом.

Только в короткий рождественский мясоед жизнь

становится как будто льготнее. Молодежь отдыхает; даже старики позволяют себе относительную свободу, хотя хозяйственный мужичок и тут не упускает случая, дающего возможность с выгодой употребить свой труд. Днем, около сумерек, деревенская улица полна катающимися. Парни, усадив в сани гурьбы девушек, настегивают лошадей и мчатся во всю прыть. Слышатся гиканья, крики, смех. Накатаются досыта, иззябнут, но в избу заходят ненадолго. Зажгутся в избах огни — пора на поседки. Соберутся в очередную избу, играют песни и веселятся до петухов. Тут парни высматривают невест, завязываются сватовства на Красную горку; любовь вступает в свои права.

В это же время, по преимуществу, хозяйственный мужичок играет свадьбы.

Женитьба сына не требует особенных приготовлений. Сын берет бабу в дом, а дома все идет своим чередом; прибавляется только лишняя работница. Присмотреть невесту, уговориться насчет приданого, установить норму расходов для пирований и на плату за венчание — вот все, что требуется. Но к свадьбе дочери подготовляются издалека и исподволь, чтоб расход не был чувствителен. Дочь имеет собственную коробью, в которую сама собирает свое приданое. Ей каждый год отделяется небольшой клочок земли и дается горсточка льну на посев; этот лен она сама сеет, обделывает и затем готовит из него для себя красно́. Все заготовленное она прячет в коробью, вместе с полученными в разное время подарками: платками, бусами, нарядными сарафанами и т. д.

С наступлением времени выхода в замужество — приданое готово; остается только выбрать корову или телку, смотря по достаткам. Если бы мужичок не предусмотрел за́годя всех этих мелочей, он, наверное, почувствовал бы значительный урон в своем хозяйстве. А теперь словно ничего не случилось; отдали любимое

детище в чужие люди, отпировали свадьбу, как быть надлежит, — только и всего.

Выше я сказал, что хозяйственный мужичок играет домашние свадьбы (или, точнее, женит сына, потому что дочь выдается, когда жених найдется) преимущественно к концу рождественского мясоеда. В этом деле им тоже руководит мудрость змия и твердая решимость не потерпеть ущерба в жизнестроительном обиходе. Своевременно приведенная в дом сноха родит, при таком расчете, не раньше осени; следовательно всю летнюю страду она отбудет свободно. И не только будущую страду, но и предбудущую, потому что ребенок, родившийся с осени, успеет мало-мальски окрепнуть и не будет слишком часто отрывать мать от работы. Женить на Красную горку тоже удобно, с точки зрения ближайшей страды, но зато предбудущая уже не дает достаточного обеспечения: ребенок будет мал и слаб.

Как видит читатель, никаких дум у хозяйственного мужика нет, кроме думы о жизнестроительстве. Ради нее он отдает себя и семью в жертву каторге, ради нее терпеливо выносит всякие неожиданности. Она затемняет в нем даже любовь к семье. Он всецело отдает ей самого себя, но — и только. Той любви, которая заставляет видеть в жене, сыне, дочери нечто ненаглядное, неприкосновенное для обид, не существует для него. И всю семью он успел на свой лад дисциплинировать; и жена и дети видят в нем главу семьи, которого следует беспрекословно слушаться, но горячее чувство любви заменилось для них простою формальностью — и не согревает их сердец.

Наконец идеал «полной чаши» достигнут. Изба прочна и хорошо ухичена; запасу вдоволь, скотины в избытке, дети — в порядке. В доме царствуют мир и согласие; даже в кубышке деньга, на черный день, водится. В таком положении до мироедства — один

только шаг. Но хозяйственный мужик от природы чужд кровопивства; его не соблазняет ни лавочка, ни кабак. Непрерывным трудом и думою о будущем он достиг известной степени зажиточности — и будет с него. По-прежнему — он отказывается от чайничества, по-прежнему — ест хлеб черствый, а не мягкий, по-прежнему — осторожно обращается с свежей убоиной. Если б он поступил иначе, ему было бы не по себе, он перестал бы быть самим собой.

Но с «полною чашей» приходит и старость. Мало-помалу силы слабеют; он не может уже идти сорок верст за возом в город и не выносит тяжелой работы. Старческое недомогание обступает со всех сторон; он долго перемогает себя, но наконец влезает на печь и замолкает.

На арену хозяйственности выступает большак-сын. Если он удался, вся семья следует его указаниям и, по крайней мере, при жизни старика не выказывает розни. Но, по временам, стремление к особничеству все-таки прорывается. Младшие сыновья припрятывают деньги, — не всё на общее дело отдают, что выработают на стороне. Между снохами появляются «занозы», которые расстраивают мужей.

«Умру — всё растащат!» — думается старику, и болит, ах, болит его хозяйственное сердце!

Наконец он умирает. Умирает тихо, честно, почти свято. За гробом следует жена с толпою сыновей, дочерей, снох и внучат. После погребенья совершают поминки, в которых участвует вся деревня. Все поминают добром покойника. «Честный был, трудовой мужик — настоящий хрестьянин!»

Да, это был действительно честный и разумный мужик. Он достиг своей цели: довел свой дом до полной чаши. Но спрашивается: с какой стороны подойти к этому разумному мужику? каким образом уверить его, что не о хлебе едином жив бывает человек?

СЕРЕЖА РОСТОКИН

Русскому читателю достаточно известно значение слова «шалопай». Это — человек, всем существом своим преданный праздности; это — идол портных, содержателей ресторанов и кокоток, покуда не запутается в неоплатных долгах. Предвидя неминучее банкротство и долговую тюрьму, он нередко делается вором, составителем фальшивых документов и является действующим лицом в крупных уголовных процессах. Но иногда благополучно ускользает от скандала, исчезая куда-нибудь в деревню на приятельские хлеба. Процветает он исключительно в больших городах.

Так, впрочем, было в сравнительно недавнее время, когда шалопай был только бесполезен и оскорблял нравственное чувство единственно своею ненужностью. Без думы, не умея различить добра от зла, не понимая уроков прошлого и не имея цели в будущем, он жил со дня на день, веселый, праздный и счастливый своею невежественностью. Просыпался утром поздно и посвистывал; сидел битый час или два за туалетом, чистил ногти, холил щеки, вертелся перед зеркалом, не решаясь, какой надеть жилет, галстух, и опять посвистывал. В два часа садился в собственную эгоистку и ехал завтракать к Дюсо; там встречался со стаею таких же шалопаев и условливался насчет остального дня; в четыре часа выходил на Невский, улыбался проезжавшим мимо кокоткам и жал руки знакомым; в шесть часов обедал у того же неизменного Дюсо, а в праздники — у ma tante;[1] вечер проводил в балете, а оттуда, купно с прочими шалопаями, закатывался на долгое ночное бдение туда же, к

[1] тетушки *(франц.)*.

Дюсо. Говорил мало, мыслил еще меньше, ибо был человек телодвижений по преимуществу.

Так протекала эта бездумная жизнь со дня выхода из «заведения» вплоть до седых волос. Надевши седые волосы, шалопай впервые задумывался. Он еще продолжал гулять в урочный час по Невскому, распахнув на груди пальто в трескучий мороз, но уже начинал чувствовать некоторые телесные изъяны. То ногу волочить приходится, то лопатка заноет, да и руки начинают трястись (стакан с вином рискует расплескать, покуда донесет до рта). Кроме того, вследствие усиленных настояний содержателей ресторанов, портных и проч., ему пришлось рассчитаться. Кое-что ему простили, но все-таки вышла сумма настолько изрядная, что он и сам не подозревал. Рассчитавшись, он увидел себя в обладании такой скромной фортуны, что продолжать жить по-прежнему оказывалось немыслимым. Но, раз попавши в праздничную колею, он уже не имел возможности сойти с нее, даже если бы хотел. Он не знал ничего другого; ни ум, ни чувство, ни воображение — ничто не говорило ему об иной жизни. Тогда он или делался героем уголовных процессов, или же из шалопая деятельного постепенно превращался в скромного pique assiett'a[1]. Пристраивался к кружку только что вылупившихся шалопаев и менторствовал в нем. Пил и ел на счет молодых людей, рассказывал до цинизма отвратительные анекдоты, пел поганые песни, паясничал; словом сказать, проделывал все гнусности, которые радуют и заставляют заливаться неистовым хохотом жеребячьи сердца. Наконец, наступало еще более трудное время. Его щелкали в нос, мазали по лицу селедкой, заставляли брать в рот сигару зажженным концом, выпивать подлую смесь опивков и проч. И хохотали при этом, хохотали до слез.

[1] прихлебателя *(франц.)*.

Затем, что дальше, то труднее и труднее. Он уже не смел войти в ту комнату, где раздавался хохот его неблагодарных учеников, и скромно становился у буфета, где татарин-буфетчик, из жалости, наливал ему рюмку водки и давал бутерброд *задаром*. Постоявши в буфете, он, по привычке, отправлялся на Невский и подолгу застаивался перед витринами братьев Елисеевых, любуясь выставкой гастрономических новинок. Желудок страстно ныл, зубы машинально жевали; наконец он не выдерживал, нащупывал в кармане рублевку и покупал четверть фунта икры. Это был его обед. Измаявшись и измучившись, он как-то внезапно совсем исчезал. В одно прекрасное утро в газетах появлялся его некролог:

«На днях умер Иван Иваныч Обносков, известный в нашем светском обществе как милый и неистощимый собеседник. До конца жизни он сохранил веселость и добродушный юмор, который нередко, впрочем, заставлял призадумываться. Никто и не подозревал, что ему уж семьдесят лет, до такой степени все привыкли видеть его в урочный час на Невском проспекте бодрым и приветливым. Еще накануне его там видели. Мир праху твоему, незлобивый старик!»

Таков был шалопай недавнего прошлого; таким же остался он и теперь, ежели взглянуть на него исключительно со стороны его внутреннего ничтожества. То же празднолюбие, та же бездумность, то же бесцельное прожигание жизни в чаду ресторанов, в плену у портных и кокоток. Но к этому прибавилась одна черта, которая делает его не только нравственно-оголтелым, но и вредным. Он заразился честолюбием и пытается проникнуть в тайны внутренней политики, которая, таким образом, делается одним из видов высшего шалопайства. Mon oncle и ma tante[1] успели его убедить, что нынче такие люди нужны, и он охотно

[1] дядюшка и тетушка *(франц.)*.

поверил им. Он шляется уже не по одним ресторанам, но заглядывает и в канцелярии и предлагает свои услуги. Иногда даже, в самом разгаре оргии, он задумывается и начинает бормотать что-то гневное. Он недоволен, он утверждает, que tout est à refaire[1], и инстинктивно грозит пальцем в пространство. Спросите его: кто тебя, дурашка? кому ты грозишь? — он, наверное, повторит ту же стереотипную фразу: tout est à refaire. Он слышал, что эта фраза в ходу на жизненном рынке, что она сама по себе представляет залог, и чувствует себя взбудораженным ею, ждет, что она даст ему нечто в будущем. Mon oncle и ma tante, с своей стороны, ходатайствуют. И очень часто, с их помощью, а также при содействии других, уже успевших заручиться, шалопаев, он обретает желаемое сокровище, так что старость не застает его врасплох, как шалопая прежних времен.

Таков именно герой настоящего этюда, Сережа Ростокин.

Он, так сказать, шалопай высшей школы. Ему не больше двадцати пяти лет, и еще памятна скамья «заведения», в котором он воспитывался и обучался кратким наукам. Он имеет хорошие материальные средства, живет в удобной квартире, держит собственный экипаж, ходит в безукоризненном белье и одевается у лучшего портного. Всегда душистый, свежий и бодрый, он приводит в умиление кокоток, к вящей зависти дамочек и девиц, посещающих салоны mon oncle и ma tante. Последние возлагают на него большие надежды (они бездетны, и имение их должно перейти Сереже) и исподволь подыскивают ему приличную партию; но он покуда еще уклоняется от брачных оков. Вообще он появляется в салонах лишь мельком и предпочитает проводить время в ресто-

[1] что все надо переделать *(франц.)*.

ранах, в обществе кокоток, у которых и телодвижения свободнее, и всегда отыщется на языке le mot pour rire[1].

Заглянемте утром в его квартиру. Это очень уютное гнездышко, которое француз-лакей Шарль содержит в величайшей опрятности. Это для него тем легче, что хозяина почти целый день нет дома, и, стало быть, обязанности его не идут дальше утра и возобновляются только к ночи. Остальное время он свободен и шалопайничает не плоше самого Ростокина.

До десяти часов в квартире царствует тишина. Шарль пьет кофе и перемигивается через двор с мастерицами швейного магазина. Но в то же время он чутко прислушивается.

Бьет половина одиннадцатого; Шарль осторожно стучится в дверь Сережиной спальни. Слышится позевыванье, потягиванье, и наконец раздается громкое: entrez![2] Начинается туалет...

Я не буду описывать подробностей и тайн этого сложного процесса: не имею для этого ни достаточных данных, ни надлежащего искусства. В спальне раздается то посвистыванье, то тихое мурлыканье — это Сережа вспоминает виденное и слышанное накануне. Он сидит перед зеркалом, препарирует себя и улыбается. Именно только улыбается, улыбается безотносительно, без всякой мысли. В голове его пробегают какие-то обрывки без связи и последовательности, так что, в сущности, он, если можно так выразиться, не сознает себя сущим. Хорошо ему — вот и всё. Он, слава богу, проснулся, и впереди его ждет совсем белый день, без точек, без пестрины, одним словом, день, в который, как и вчера, *ничего не может случиться.* А ежели

---

[1] забавное словечко *(франц.).*

[2] войдите! *(франц.).*

и предстоит какая-нибудь особенность, вроде, например, привоза свежих устриц и заранее данного обещания собраться у Одинцова, то и эта неголоволомная подробность уже заранее занесена им в carnet[1], так что сто́ит только заглянуть туда — и весь день как на ладони. Во всяком случае, думать ему нет надобности, а можно только улыбаться. Улыбается он и без повода, просто самому себе, и случайно припоминая какую-нибудь легонькую проказу, в которой он был действующим лицом. Покуда он улыбается и препарирует себя, Шарль летает как муха, приготовляя кофе и легкий завтрак и раскладывая по стульям столовой несколько пар платья для выбора.

Подкрепившись и решив вопрос о панталонах, галстухе и проч., Сережа начинает одеваться. Опять посвистыванье, опять улыбки и опять ни одной мысли. Время летит незаметно среди колебаний и переговоров с Шарлем, раздается облегчительное: «Enfin, me voici en règle!»[2] — и великий процесс одеванья кончен. Часы показывают два; Сережа надевает шляпу, натягивает перчатки и в последний раз останавливается перед зеркалом. Тут он осматривает себя с ног до головы, сзади, с боков, и, довольный собой, выходит на крыльцо, где уж его ожидает экипаж. Он едет... куда?

Старозаветный шалопай ответил бы на этот вопрос: «Мой кучер уж знает»,— и приехал бы прямо к Дюсо. Сережа отступил от завещанного предания и прежде всего отправляется... в канцелярию! Здесь он справляется у швейцара: «Петр Николаич приехал?» — и, выслушав ответ: «Сейчас приедут, курьер уж привез портфель», — направляет шаги в помещение, где ютятся чиновники. Накурено, насорено, а по местам

---

[1] записную книжку *(франц.)*.
[2] «Ну, вот я и готов!» *(франц.)*

и наплевано. Но Сережа не формализируется этим; он понимает, что находится здесь не для того, чтоб рвать цветы удовольствия, а потому, что обязан исполнить свой «долг» (un devoir à remplir). Канцелярские чиновники сидят по местам и скребут перьями; среднее чиновничество, вроде столоначальников и их помощников, расселось где попало верхом на стульях, курит папиросы, рассказывает ходящие в городе слухи и вообще занимается празднословием; начальники отделений — читают газеты или поглядывают то на дверь, то на лежащие перед ними папки с бумагами, в ожидании Петра Николаича.

— Скоро ли же вы с этим безобразием покончите? — спрашивает Сережа, поочередно пожимая руки начальникам отделений, — эти суды, это земство, эта печать... ах, господа, господа!

— Прытки вы очень! У нас-то уж давно написано и готово, да первый же Петр Николаич по полугоду в наши проекты не заглядывает. А там найдутся и другие рассматриватели... целая ведь лестница впереди! А напомнишь Петру Николаичу — он отвечает: «Момент, любезный друг, не такой! надо момент уловить, — тогда у нас разом все проекты как по маслу пройдут!»

— Да; но согласитесь, что ждать ужасно! Все кругом рушится, tout est à refaire, — а тут момент уловить не могут!

— Э! проживем как-нибудь. Может быть, и совсем момента не изловим, и все-таки проживем. Ведь еще бабушка надвое сказала, что лучше. По крайней мере, то, что есть, уж известно... А тут пойдут ломки да переделки, одних вопросов не оберешься... Вы думаете, нам сладки вопросы-то?

Собеседник меланхолически посматривает в окно, как бы не желая продолжать разговора о материи, набившей ему оскомину. Вся его фигура выражает

одну мысль: наплевать! я, что приказано, сделал, — а там хоть черт родись... надоело!

Но Сережа совсем не того мнения. Он продолжает утверждать, que tout est à refaire и что настоящее положение вещей невыносимо. Картавя и рисуясь, он бормочет слова: «суды, земство... и эта шутовская печать!.. ах, господа, господа!» Он, видимо, всем надоел в канцелярии; но так как никто не говорит этого ему в глаза, то он остается при убеждении, что исполняет свой долг, и продолжает надоедать.

Наконец в соседней комнате раздается передвиганье стульев и слышатся торопливые шаги. Это спешит сам Петр Николаич, предшествуемый курьером.

Сережа обдергивается, приосанивается и приказывает доложить о себе.

— Ах, шут гороховый! опять задержит! — ропщут начальники отделений.

В кабинете между тем происходит сцена.

— Pierre! да когда же вы кончите с этим безобразием? — пристает Сережа, — все рушится, все страдает, tout est à refaire, а вы пальца о палец не хотите ударить!

Петр Николаич глубокомысленно почесывает нос.

— Момент еще не пришел, — отвечал он, — ты слишком нетерпелив, душа моя. Когда наступит момент, — поверь, — он застанет нас во всеоружии, и тогда всякая штука проскочит у нас comme bonjour[1] Но покуда мы только боремся с противоположными течениями и подготовляем почву. Ведь и это недешево нам обходится.

— Но когда же? когда? — сгорает нетерпением Сережа,— мне из деревни пишут... mais c'est horrible ce qui s'y passe![2]

---

[1] без сучка и задоринки *(франц.)*

[2] ужас, что там творится! (*франц.*)

— Это же самое мне вчера графиня Крымцева говорила. И всех вас, добрых и преданных, приходится успокоивать! Разумеется, я так и сделал. — Графиня! — сказал я ей, — поверьте, что, когда наступит момент, мы будем готовы! И что же, ты думаешь, она мне на это ответила: «А у меня между тем хлеб в поле не убран!» Я так и развел руками!

И Петр Николаич показывает на деле, как он развел руками.

— Сентябрь уж на дворе, а у нее хлеб еще в поле... понимаешь ли ты это? Приходится, однако же, мириться и не с такими безобразиями, но зато... Ах, душа моя! у нас и без того дела до зарезу,— печально продолжает он, — не надо затруднять наш путь преждевременными сетованиями! Хоть вы-то, видящие нас в самом сердце дела, пожалейте нас! Успокойся же! всё в свое время придет, и когда наступит момент, мы не пропустим его. Когда-нибудь мы с тобою переговорим об этом серьезно, а теперь... скажи, куда ты отсюда?

— К Одинцову; свежие устрицы привезли.

— Ах, как я тебе завидую, и тебе, и всем вам, благородным и преданным... но только немножко нетерпеливым!.. С каким бы удовольствием я сопровождал тебя, и вот... Долг приковал меня здесь, и до шести часов я нахожусь в плену... Ты думаешь, мне дешево достается мое возвышенье?

— О!!

— Да, не сладко мне, не на розах я сплю. Но до свидания. Меня ждут. Ах, устрицы, устрицы! Кстати: вчера меня о тебе спрашивали, и может быть... Enfin, qui vivra verra[1].

— Я не спешу, но, конечно, не прочь пристроиться.

[1] Впрочем, поживем — увидим *(франц.)*.

— И не спеши; мы за тебя поспешим. Нам люди нужны; и не простые канцелярские исполнители, а люди с искрой, с убеждением. До свиданья, душа моя!

Раздается звонок и приказание: «Попросите Егора Иваныча!»

Сережа почтительно удаляется.

Покуда он еще не имеет определенной должности; он просто «состоит». Не начинать же ему карьеру с помощника столоначальника... Фуй! не для того он кратким наукам обучен, чтобы «корпеть»; он прямо «метит». Родители не раз заманивали его в родной город, обещая предводительство, но он и тут не соблазнился, хотя быть двадцати пяти лет предводителем очень недурно, да и шансы на будущую карьеру несомненны. Это он хорошо понимает; но ему еще жаль Петербурга с его ресторанами, закусочными и кокотками. В нем еще слишком живо говорит молодая кровь, чтоб решиться, хоть на время, закупорить себя в захолустье. Он боится обрюзгнуть, растолстеть, разлениться. Нет, он лучше здесь подождет, на глазах у однокашников — это хоть и медленнее, но вернее. Кстати, его взял под свое руководство Петр Николаич Лопаснин, который не далее как три года тому назад разыгрывал такую же роль, как и Сережа, а теперь по целым годам проекты под сукном держит и все момента ждет. Мудреного нет, что и Сережа... ведь он малый с «искрой»! Вдруг понадобятся «люди», а он и тут как тут! В голове у него, правда, настолько смутно, что никакого, даже вредного, проекта он не сочинит; но на это есть дельцы, есть приказная челядь, а его дело — руководить. Он знает, что tout est à recommencer[1] — и будет с него. Но что всего замечательнее — не только «с него будет», но и с тех,

[1] все надо начать сначала *(франц.)*.

которые слушают его пустопорожнее бормотанье. И mon oncle, и ma tante, и Петр Николаич — все от него в восхищении, всем он угодил своею невозмутимостью и благородным образом мыслей.

Я не поведу читателя ни к Одинцову, ни на Невский, где он гуляет entre chien et loup[1], ради обострения аппетита и встречи с бесчисленными шалопаями, ни даже к Борелю, где он обедает в веселой компании. Везде слышатся одни и те же неосмысленные речи, везде производятся одни и те же паскудные телодвижения. И все это, вместе взятое, составляет то, что у порядочных людей известно под выражением: «отдавать дань молодости».

— Ничего, мой друг, веселись! это свойственно молодости, — поощряет Сережу mon oncle, — еще будет время остепениться... Когда я был молод, то княгиня Любинская называла меня le démon de la nuit...[2] Не спалось и мне тогда ночи напролет; зато теперь крепко спится.

Вечер заканчивается, по преимуществу, в балете или у французов; а потом опять к Борелю, где ждет ужин, который длится до двух или трех часов ночи. Но к этому времени Сережа уж непременно дома, в своем гнездышке, и торопливо делает ночной туалет. Нередко он даже негодует на себя за слишком поздний сон, потому что боится потерять свои краски и бодрый вид. Но что прикажете делать? à la guerre comme à la guerre![3] — приходится урвать час-другой от сна, чтоб не огорчить друзей. Все они сплелись между собой, все дали слово поддерживать друг друга,— стало быть, надо идти рука в руку, покуда хватит сил...

[1] в сумерки *(франц.)*.
[2] ночным демоном... *(франц.)*.
[3] на войне, как на войне! *(франц.)*



А назавтра опять *белый* день, с новым повторением тех же подробностей и того же празднословия. И это не надоедает... напротив! Встречаешься с этим днем, точно с старым другом, с которым всегда есть о чем поговорить, или как с насиженным местом, где знаешь наверное, куда идти, и где всякая мелочь говорит о каком-нибудь приятном воспоминании.

Приближаясь к тридцати годам, Сережа мало-помалу остепеняется. Он по-прежнему остается шалопаем, по-прежнему твердит неосмысленные слова, но уже выжидает момента. Не знаю, вполне ли он самостоятельно действует, или только еще приобщен, в виде компаньона, но, во всяком случае, уже близок к самостоятельности. Он бесповоротно решил, que tout est à recommencer, и стоит на страже во всеоружии. Mais, au nom de Dieu[1], не торопитесь, господа! Не осложняйте преждевременною рьяностью нашего, и без того нелегкого, труда! Все придет в свое время — ручательством служит вот эта куча проектов, которая лежит у него на столе. Изредка, на досуге, он перечитывает то один, то другой проект и от времени до времени глубокомысленно восклицает:

— C'est ça! Именно то самое, что я хотел сказать!

Из провинции чуть не каждый день наезжают всевозможных сортов добровольцы, смотрят ему в глаза и любопытствуют:

— Сергей Семеныч! да когда же вы наконец приступите?

И он, подобно своему ментору и другу, спешит успокоить нетерпеливцев:

— Мы готовы, мы ждем только сигнала,— говорит он, — но прежде всего необходимо уловить благо-

[1] Но, ради бога *(франц.).*
[2] Вот именно! *(франц.)*

приятный момент. Коль скоро момент будет *благо*приятен — и все совершится *благо*приятно; а ежели мы начнем в *не*благоприятный момент, то и все остальное совершится *не*благоприятно. Ведь вы этого не желаете, господа?

— Помилуйте! зачем же?

— И я тоже не желаю, а потому и стою, покамест, во всеоружии. Следовательно, возвращайтесь каждый к своим обязанностям, исполняйте ваш долг и будьте терпеливы. Tout est à refaire — вот девиз нашего времени и всех людей порядка; но задача так обширна и обставлена такими трудностями, что нельзя думать о выполнении ее, покуда не наступит момент. Момент — это сила, это conditio sine qua non[1]. Правду ли я говорю?

— Что правда, то правда. Хоть и горько, а приходится согласиться.

— Вам горько, а нам, вы полагаете, легче? В одном месте хлеб не убран, в другом — не засеян; там молотьба прекратилась, тут льют дожди, хлеб гниет на корню — разве это приятно? Со страхом спрашиваешь себя: куда мы, наконец, идем? какой получится в результате баланс? И таким образом каждый день. Каждый день мы слышим эти ламентации — и все-таки ждем! Ждите же и вы, господа! и будьте уверены, что здесь заботятся не только о вас, но и обо всех вообще... И об тех, которые пострадали, и об тех, которым угрожает страдание в будущем... Мы и об мужичках думаем... Да! Nous sommes nulle part et partout[2] — вот сколько у нас забот! Прощайте, господа!

И длится эта изнурительная канитель целыми годами и находит доступ в публику то при помощи уличных слухов, то при посредстве газетных известий.

---

[1] необходимое условие *(лат.)*.

[2] Мы нигде и везде *(франц.)*.

У Подхалимова дыханье в зобу сперло от внутреннего ликованья; он со всеми курьерами передружился, лишь бы подслушивали у дверей и сообщали ему самые свежие новости.

Слухи эти, в существе своем, настолько нелепы, что можно было бы и не упоминать о них, тем более что большинство так и остается на степени слухов. Но, к сожалению, мы так приучены к нелепостям, до такой степени они всосались в нас, что мы принимаем всякую нескладицу за чистую монету и приходим в волнение по ее поводу. Добровольцы разъезжаются по своим местам и там грозят: погодите! вот ужо́! И всё притихает перед этим «ужо́»; деятельность, и без того не чересчур яркая, окончательно вялеет; зачатки жизни превращаются в умирание. Точно на другой день ожидается светопреставление.

Разумеется, Сережа ничего этого не знает, да и знать ему, признаться, не нужно. Да и вообще ничего ему не нужно, ровно ничего. Никакой интерес его не тревожит, потому что он даже не понимает значения слова «интерес»; никакой истины он не ищет, потому что с самого дня выхода из школы не слыхал даже, чтоб кто-нибудь произнес при нем это слово. Разве у Бореля и у Донона говорят об истине? Разве в «Кипрской красавице» или в «Дочери фараона» идет речь об убеждениях, о честности, о любви к родной стране?

Никогда!

Между тридцатью пятью годами и сорока Сережа начинает склонять слух к увещаниям mon oncle и ma tante. Давно уже они отыскивают ему подходящую партию, давно убеждают устроиться собственным гнездышком, но до сих пор Сережа отстаивает свою независимость и свободу.

— La liberté et l'indépendance — je ne connais que ça![1] — говорит он в ответ на родственные увещания, и старики грустно покачивали головами и уж почти отчаялись когда-нибудь видеть милого Serge'а во главе семейства.

Однако ж теперь он начинает понимать, что роковой момент недалеко. Он уже отрастил брюшко, на голове у него появились подозрительные взлизы; он сделался как будто вялее в своих движениях, и его все более и более тянет... домой! Приедет в свое гнездышко, рассчитывая отдохнуть и помечтать... так, ни об чем! А там — Шарль угощает свою белошвейку сладкими пирожками из соседней булочной. Скрепя сердце, он опять едет к Донону, но уже без прежнего внутреннего ликования, которое заставляло, при входе его, улыбаться во весь рот дононовских татар.

Вообще становится скучно; только и отводишь душу с Петром Николаичем в умной беседе: que tout est à recommencer и что вчера уж думали, что момент наступил, а сегодня опять...

Наконец выдается очень солидная партия. Именно как раз по нем.

Она — дочь «сведущего человека» и премилая особа. Красива, стройна, говорит отлично по-французски, знает un peu d'arithmétique, un peu de géographie et un peu de mythologie[2] (чуточку!), изрядно играет на фортепиано и умеет держать себя в обществе. Сверх того, она богата. За нею три тысячи десятин земли в одной из черноземных губерний, прекрасная усадьба и сахарный завод, не говоря уже о надеждах в будущем (еще сахарный завод), потому что она — единственная дочь и наследница у своих родителей. Но этого мало: у нее

---

[1] Свобода и независимость — ничего, кроме этого! *(франц.)*

[2] кое-что из арифметики, кое-что из географии и кое-что из мифологии *(франц.)*.

есть дядя, старый холостяк, и ежели он не женится — куда ему, старику! — то и его именье (третий сахарный завод) со временем перейдет к ней. Отец ее, Иван Петрович Грифков, приехал в Петербург, в качестве сведущего человека, и ездит на совещание в какую-то субкомиссию, в которой деятельно ведутся переговоры об упразднении. Сережа уже познакомился с ним и даже близко сошелся, потому что оба они того мнения, que tout est à refaire, и оба с нетерпением ждут момента.

— Не упускай этого случая, мой друг! — твердит ему ma tante. — Таких завидных партий нынче в целой России немного сыщешь!

— Подумаем, ma tante, подумаем! — отвечает он, улыбаясь и покручивая усики, которые у него всегда в порядке: не очень длинны и не очень коротки.

— У тебя будет свой собственный сахарный завод, да у нее в перспективе три, — продолжает mon oncle, — у тебя отличная усадьба, да у нее три... Ежели у вас даже четверо детей будет — вот уж каждому по усадьбе готово.

— Ну, зачем четверо! с нас будет довольно и двоих! Баран да ярочка — красная парочка! — шутит Сережа.

— Ну, там видно будет; Христос с тобой, начинай!

В сущности он уж решился. Он уже намекнул отцу молодой особы, да и ей самой, о своих намерениях. Ей он открылся во время мазурки. Она ничего положительного ему не сказала, а только загадочно спросила:

— Вы можете любить?

— О! — начал было он, но в это время одна из танцующих дам подвела ей двух кавалеров:

— Гиацинт или рододендрон?

— Гиацинт,— ответила она и умчалась скользить по паркету.

Через три месяца, на Красную горку, была их свадьба. Они поселились на Сергиевской в таком гнездышке, что и родители, и тетеньки с дяденьками не могли достаточно налюбоваться на них. Под венцом она была удивительно мила; вся в белом, с белым венком на голове, она походила на беломраморную статую, сошедшую с пьедестала, чтобы обойти заветное число раз кругом аналоя. Он тоже был как раз под пару, и нашептывал ей, во время обряда, страстные слова. Но она не смущалась этими словами и смотрела как-то чересчур уж светло и самоуверенно вперед.

На коврик она ступила первая.

Целый месяц после свадьбы они ездили с визитами и принимали у себя, в своем гнездышке. Потом уехали в усадьбу *к ней,* и там началась настоящая poème d'amour[1]. Но даже в деревне, среди изъявлений любви, они успевали повеселиться; ездили по соседям, приглашали к себе, устраивали охоты, пикники, кавалькады. Словом сказать, не видали, как пролетело время и настала минута возвратиться из деревенского гнездышка в петербургское.

Через полгода он уже занимает хороший пост и пишет циркуляры, в которых напоминает, истолковывает свою мысль и побуждает. В то же время он — член английского клуба, который и посещает почти каждый вечер. Ведет среднюю игру, по преимуществу же беседует с наезжими добровольцами о том, que tout est a recommencer, но момент еще не наступил.

— Будьте терпеливы, господа! — убеждает он своих единомышленников,— когда наступит момент, он найдет нас во всеоружии; вы думаете, нам сладко — ах! только грудь да подоплёка знают, чего нам

[1] поэма любви *(франц.).*

сто́ят эти проволо́чки! Однако ж мы ждем,— ждите и вы!

К Борелю он заезжает лишь изредка, чтоб мельком полюбоваться на эту бодрую и сильную молодежь, которая, даже среди винных паров, табачного дыма и кокоток, не забывает, que tout est à refaire. Нечего и говорить, что его принимают — и татары, и молодые люди — как дорогого и желанного гостя.

С своей стороны, Ирина Ивановна принимает по вечерам в своей гостиной. Хотя муж очень редко бывает дома, но ей живется не скучно. Навещают ее салон большею частью люди с весом, пожилые, но бывают и молодые люди. Она пополнела, сделалась вполне самостоятельною и ведет себя с большим апломбом, так что опасаться за нее нечего. Под конец вечера Сережа заезжает на минутку домой, беседует с наиболее влиятельными гостями на тему que tout est à refaire, и когда старички уезжают, он опять исчезает в клуб, оставляя жену коротать остатки вечера в обществе молодых людей.

К весне она собирается родить. Будет ли у них красная парочка, баран да ярочка, как предсказывал себе сам Сережа, или число детей увеличится до четырех — каждому по усадьбе и по сахарному заводу — это покажет будущее.

Вообще жизнь его устроилась, попала в окончательную колею, из которой уже не выйдет. Ни тревог, ни волнений, ничего впереди, кроме неосмысленной фразы: que tout est à recommencer.

В свое время он умрет, и прах его с надлежащею помпой отвезут сначала на варшавский вокзал, а потом в родовое имение, где похоронены останки его предков. А на другой день в газетах появится его некролог:

«Вчера скончался Сергей Семенович Росто́кин, один из самых ревностных реформаторов последнего

времени. Еще накануне он беседовал с друзьями об одном проекте, который составлял предмет его постоянных забот, и в этой беседе, внезапно, на порвавшемся слове, застигла его смерть... Мир праху твоему, честный труженик!»

ЕВГЕНИЙ ЛЮБЕРЦЕВ

Он — товарищ Сережи Ростóкина по школе, но какая разница! Сережа учился более нежели плохо и слыл между товарищами глупеньким; Люберцев учился отлично (вышел с золотою медалью) и уже на школьной скамье выглядывал мужем совета.

— Oh, celui-là ne manquera pas sa carrière![1] — говорил про него француз-воспитатель, ласково держа его за подбородок и проницательно вглядываясь ему в глаза.

А русский воспитатель прибавлял:

— Со временем бразды правления в руках держать будет. И не без пользы для себя... и для других.

Евгений Филиппыч был сын чиновника из второстепенных, но пользовавшегося отличною репутацией. Филипп Андреич занимал не блестящий, но довольно солидный пост, на котором надеялся и покончить свою служебную карьеру. Многое от него зависело, хотя он скромно об этом умалчивал. Никогда он не метил высоко, держался средней линии и паче всего заботился о том, чтоб начальнику даже в голову не пришло, что он, честный и старый служака Люберцев, кому-нибудь ножку подставить хочет. Зато все его любили, все обращались к нему с доверием, дружелюбно жали ему руку, как равному, и никогда не отказывали в

[1] О, этот не промахнется, сделает карьеру! *(франц.)*

маленьких послугах, вроде определения детей на казенный счет, выдачи пособия на случай поездки куда-нибудь на воды и проч. Одним словом, Евгений Филиппыч принадлежал к одной из тех солидных чиновничьих семей, которые считают в прошлом несколько поколений начальников отделения и одного вице-директора (Филипп Андреич).

Евгений любил отца, видел его трудовую жизнь, сочувствовал ей и готовился идти по родительским стопам. Сходство между ними было поразительное во всех отношениях. По наружному виду он был такого же высокого роста, так же плотен и расположен к дебелости, как и отец. В нравственном отношении оба выросли в понятиях «долга», оба знали цену «послушанию», оба были трудолюбивы, толковиты и прямо отыскивали суть дела. Но существовала и разница: отец был человек себе на уме, а сын был тоже себе на уме, но, кроме того, и с «искрой». Впрочем, это последнее качество проявилось в нем как результат новых веяний.

Вышедши из школы, Люберцев поселился не вместе с родным семейством, а на отдельной квартире, и отец вполне согласился, что он поступает правильно. Старик жил старозаветною жизнью и понимал, что сыну нужна совсем другая обстановка. Нужны товарищи, более или менее шумные собеседования, а по временам и сосредоточенность, которую не могла бы нарушить семейная сутолока. Словом сказать, нужно молодому человеку развязать руки, доставить самостоятельность. А семьи он не позабудет; он слишком солиден и честен, чтобы поставить себя в сомнительные отношения к отцу и матери.

— Пускай его поживет на своих ногах! — утешал Филипп Андреич огорченную жену,— в школе довольно поводили на помочах — теперь пусть сам собой попробует ходить!

Наняли для Генечки скромную квартиру (всего две комнаты), чистенько убрали, назначили на первое время небольшое пособие, справили новоселье, и затем молодой Люберцев начал новую жизнь под личною ответственностью, но с сознанием, что отцовский глаз зорко следит за ним и что, на случай нужды, ему всегда будет оказана помощь и дан добрый совет.

— Главное, друг мой, береги здоровье! — твердил ему отец, — mens sama in corpore sano [1]. Будешь здоров, и житься будет веселее, и все пойдет у тебя ладком да мирком!

— Не правда ли, папенька? — соглашался Евгений с отцом.

— Здоровье — это первое наше благо! — подтверждал отец,— ну, Христос с тобой! живи; я на тебя надеюсь!

Как я сказал выше, Люберцев уже на школьной скамье выглядывал дельцом. По выходе из школы он быстро втянулся в служебный круговорот (благо, служба была обязательная и место уже в перспективе имелось готовое) и даже усвоил себе известную терминологию, которою, однако ж, покамест пользовался как бы шутя. Так, улыбаясь, он называл себя государственным по́слушником, — не опричником, фуй! а именно по́слушником, — а иногда рисковал даже, тоже улыбаясь, говорить: «Мы, государственные доктринеры...» Вообще, на первых порах, трудно было разобрать, серьезно ли он говорит или иронически. Большинство видело, впрочем, скорее тонкую иронию, и это дало ему немало друзей из молодых людей с несколько пылким темпераментом.

У него не было француза-слуги, а выписан был из деревни для прислуг сын родительской кухарки, мальчик лет четырнадцати, неумелый и неловкий, которого

---

[1] здоровый дух в здоровом теле *(лат.)*.

он, однако ж, скоро так вышколил, что в квартире его все блестело, сапоги были хорошо вычищены и на платье ни соринки.

День его протекал очень просто, без всяких вычур. Все он делал систематически, не торопясь; с вечера расписывал завтрашние шестнадцать часов на клетки, и везде поспевал в свое время. Случались отступления от расписания, но редко, да и то исключительно в форме начальственных приглашений, от которых уклониться было нельзя. Вставал аккуратно в девять часов и сам делал свой несложный туалет. В девять с половиной он был уж у самовара, сам разливал себе чай и брался за книгу. Процесс чаепития (это был в то же время и завтрак его) длился довольно долго, но так как он сопровождался чтением, то Люберцев не старался об его сокращении. До одиннадцати часов он читал. Любимыми авторами его были французские доктринеры времен Луи-Филиппа: Гизо, Дюшатель, Вилльмен и проч.; из журналов он читал только «Revue des deux Mondes», удивляясь олимпийскому спокойствию мысли и логичности выводов и не подозревая, что эта логичность представляет собой не больше как беличье колесо. Бисмарку он тоже удивлялся, но, по его мнению, он был слишком смел и, так сказать, внезапен в своей политике. Нельзя было заранее из предыдущего поступка предусмотреть последующий, хотя сущность этих поступков имела одну и ту же подкладку. Втайне он даже был уверен, что «раскусил» Бисмарка и каждый его шаг может предсказать вперед. «Франция — это только отвод,— говорил он,— с Францией он на Бельгии помирится или выбросит ей кусок Лотарингии — не Эльзас, нет! — а главным образом взоры его устремлены на Россию,— это узел его политики,— вот увидите!» По его мнению, будь наше время несколько менее тревожно, и деятельность Бисмарка имела бы менее тревожный характер; он

просто представлял бы собой повторение твердого, спокойного и строго-логического Гизо.

В одиннадцать часов он выходил на прогулку. Помня завет отца, он охранял свое здоровье от всяких случайностей. Он инстинктивно любил жизнь, хотя еще не знал ее. Поэтому он был в высшей степени аккуратен и умерен в гигиеническом смысле и считал часовую утреннюю прогулку одним из главных предохранительных условий в этом отношении. На прогулке он нередко встречался с отцом (он даже искал этих встреч), которому тоже предписаны были ежедневные прогулки для предупреждения излишнего расположения к дебелости.

— Здоров? — спрашивал отец.

— Слава богу! вы как, папенька?

— Мне что делается! я уж стар, и умру, так удивительного не будет... А ты береги свое здоровье, мой друг! это — первое наше благо. Умру, так вся семья на твоих руках останется. Ну, а по службе как?

— Понемножку. Но скучаю, что настоящего дела нет. Впрочем, на днях записку составить поручили; я в два дня кончил и подал свой труд, да что-то молчат. Должно быть, дело-то не очень нужное; так, для пробы пера, дали, чтоб испытать, способен ли я.

— Это и всегда так бывает на первых порах. Все равно как у портных: сначала на лоскутках шить приучают, а потом и настоящее дело дадут. Потерпи, не сомневайся. В свое время будешь и шить, и кроить, и утюжить.

— Ах, папенька, как же так можно выражаться!..

— Ну, ну, пошутить-то ведь не грех. Не все же серьезничать; шутка тоже, в свое время, не лишняя. Жизнь она смазывает. Начнут колеса скрипеть — возьмешь и смажешь. Так-то, голубчик. Христос с тобой! Главное — здоровье береги!

В полдень Люберцев уже на службе, серьезный и сосредоточенный. Покуда у него нет определенной должности; но швейцар Никита, который тридцать лет стоит с булавой в департаментских сенях, уже угадал его и выражается прямо, что Евгений Филиппыч из молодых да ранний.

— Вот погодите, щелкоперы! — говорит он чиновникам,— он вам ужо, как начальником будет, задаст перцу! Забудете папироски курить да посвистывать!

Люберцев сидит за пустым столом и от нечего делать перелистывает старое дело. Исподволь он приучается к формам и обрядам (приучается на лоскутках шить), а между тем присматривается и к канцелярскому быту. Чиновники, по его мнению, распущены и имеют лишь смутное понятие о государственном интересе; начальники отделений смотрят вяло, пишут — не пишут, вообще ведут себя, словно им до смерти вся эта канитель надоела. Многие даже откровенно зубоскалят; критикуют начальственные распоряжения, радуются, когда в газетах появится колкая заметка или намек, сами собираются что-нибудь тиснуть. Директор департамента приходит поздно, засиживается у «своей» (так, по крайней мере, говорят чиновники) и совершенно понапрасну задерживает подчиненных. И у него на лице написаны усталость и равнодушие.

— А все-таки машина не останавливается! — размышляет про себя Генечка,— вот что значит раз пустить ее в ход! вот какую силу представляет собой идея государства! Покуда она не тронута, все функции государства совершаются сами собой!

В этих присматриваньях идет время до шести часов. Скучное, тягучее время, но Люберцев бодро высиживает его, и не потому, что — кто знает? вдруг случится в нем надобность! — а просто потому, что он сознает

себя одною из составных частей этой машины, функции которой совершаются сами собой. Затем нелишнее, конечно, чтобы и директор видел, что он готов и ждет только мановения.

— А! вы здесь? — изредка говорит ему, проходя мимо, директор, который знает его отца и не прочь оказать протекцию сыну,— это очень любезно с вашей стороны. Скоро мы и для вас настоящее дело найдем, к месту вас пристроим! Я вашу записку читал... сделана умно, но, разумеется, молодо. Рассуждений много, теория преобладает — сейчас видно, что школьная скамья еще не простыла... ну-с, а покуда прощайте!

Люберцев не держит дома обеда, а обедает или у своих (два раза в неделю), или в скромном отельчике за рубль серебром. Дома ему было бы приятнее обедать, но он не хочет баловать себя и боится утратить хоть частичку той выдержки, которую поставил целью всей своей жизни. Два раза в неделю — это, конечно, даже необходимо; в эти дни его нетерпеливо поджидает мать и заказывает его любимые блюда — совестно и огорчить отсутствием. За обедом он сообщает отцу о своих делах.

— Директор недавно видел меня и упоминал о моей записке,— рассказывает он,— говорил, что составлена недурно, но рассуждений много, теория преобладает...

— Да, мой друг, в делах службы рассуждения только мешают. Нужно быть кратким, держаться фактов, а факты уже сами собой покажут, куда следует идти.

— Но нельзя же, папенька, не рассуждать. Ведь недаром нас теории учили.

— Рассуждать ты можешь про себя, а об теориях в частных разговорах беседовать можно. Ну, и на службе, пожалуй, ими руководись, только чтоб не бросалось

в глаза, не замедляло, так сказать, изложения. Теория, мой друг, окраску человеку дает, клеймо кладет на его деятельность — ну, и смотри на дело с точки зрения этой окраски, только не выставляй ее. Я сам в молодости теориям обучался, а потому вышел из меня Филипп Андреич Люберцев, а не Андрей Филиппыч. И всякий знает мою работу, всякий сразу скажет: эту записку писал не Андрей Филиппыч, а Филипп Андреев, сын Люберцев. Ex ungue leonem[1], если можно, без хвастовства, так выразиться. Вот об чем я говорю.

Вечер, часов с девяти, Люберцев проводит в кругу товарищей, но не таких шалопаев, какРостóкин (он с ним почти не встречается), а таких же основательных и солидных, как и он сам. Раз в неделю он принимает у себя; остальные вечера переходит от одного товарища к другому и изредка посещает театр. Когда собираются у него, он очень мило разыгрывает роль хозяина, потчует чаем с сдобными булками, а под конец появляется и очень приличная закуска. Несмотря на солидность, между товарищами поднимаются шумные споры. Говорят, по преимуществу, о государстве, его функциях и отношениях к отдельному индивидууму. Как люди, готовящиеся к занятию «постов», юноши задорно стоят на стороне государства и защищают неприкосновенность его прав.

— Государство — это всё,— ораторствует Генечка,— наука о государстве — это современный палладиум. Это целое верование. Никакой отдельный индивидуум немыслим вне государства, потому что только последнее может дать защиту, оградить не только от внешних вторжений, но и от самого себя.

Однако бывают и противоречия, не то чтобы очень радикальные, а все-таки не столь всецело отдающие

[1] Узнаю льва по когтям *(лат.)*.

индивидуума в жертву государству. Середка на половине. Но Люберцев не формализируется противоречиями, ибо знает, что du choc des opinions jaillit la vérité[1]. Терпимость — это одно из достоинств, которым он особенно дорожит, но, конечно, в пределах. Сам он не отступит ни на пядь, но выслушает всегда благосклонно.

— И прекрасно, мой друг, делаешь,— хвалит его отец,— и я выслушиваю, когда начальник отделения мне возражает, а иногда и соглашаюсь с ним. И директор мои возражения благосклонно выслушивает. Ну, не захочет по-моему сделать — его воля! Стало быть, он прав, а я виноват,— из-за чего тут горячку пороть! А чаще всего так бывает, что поспорим-поспорим, да на чем-нибудь середнем и сойдемся!

— Не правда ли, папенька?

— Говорю тебе, что хорошо делаешь, что не горячишься. В жизни и все так бывает. Иногда идешь на Гороховую, да прозеваешь переулок и очутишься на Вознесенской. Так что же такое! И воротишься,— не бог знает, чего стоит. Излишняя горячность здоровью вредит, а оно нам нужнее всего. Ты здоров?

— Слава богу, папенька!

— Ну, и Христос с тобой! Посещай товарищей, не пренебрегай ими! Иной раз пренебрежешь человеком, а он потом в самонужнейших окажется!

На один из дружеских вечеров совсем неожиданно явился Сережа Ростóкин. Он слышал, что у Генечки происходят в определенные дни умные разговоры, и пожелал полюбопытствовать, а при случае, с своей стороны, словечко вставить, доказать, que tout est à refaire. Он приехал навеселе, прямо от Бореля, и появление его так всех удивило, что вдруг все смолкло. Люберцев

[1] из столкновения мнений рождается истина *(франц.)*.

хотел разыграть радушного хозяина и не мог: голос у него потух. Гости сидели как на иголках; некоторые даже искали глазами свои шляпы. С своей стороны, и Сережа молчал и удивленно хлопал глазами, не видя нигде ни вина, ни объедков, ни залитой и загаженной скатерти.

— Вы́пито! — бессмысленно пробормотал он наконец, щелкая себя в галстух. — Да, было-таки... Но какую мы свежую икру ели... сливки!

Пробормотавши это, он опять замолчал и через четверть часа встал и направился к выходу. Но тут обернулся и крикнул:

— Засу́шины вы! все вы еще в пеленках высохли!.. Государство... туда же! Вот мы когда-нибудь с Петром Николаичем... разберем!

И исчез.

Споры возобновились, но Люберцев был слегка задумчив. Он вспомнил вещие слова отца: иной раз пренебрежешь человеком, а он в самонужнейших окажется...

«Что́, ежели этот шалопай, в самом деле...» — тревожился он.

И на другой день, урвавши четверть часа у прогулки, он зашел к Сереже и застал его в самом разгаре туалетной деятельности.

— А! Люб́ерцев! — воскликнул Росто́кин, слегка удивленный,— каким добрым ветром тебя занесло?

Оказалось, что он действительно был так пьян накануне, что все забыл.

— Да так, повидаться захотелось. Давно уж...

— И я давно собираюсь к тебе. У тебя, говорят, умные вечера завелись... надо, надо послушать, что́ умные люди говорят. Ведь и я с своей стороны... Вместе бы... unitibus...[1] как это?

---

[1] объединимся (*лат.*).

И он начал, по обыкновению, твердить, que tout est à refaire. Твердил бестолково, вращая зрачками, грозя пальцем и ссылаясь на Петра Николаича.

— Ежели вы, господа, на этой же почве стоите,— говорил он,— то я с вами сойдусь. Буду ездить на ваши совещания, пить чай с булками, и общими усилиями нам, быть может, удастся подвинуть дело вперед. Помилуй! tout croule, tout roule[1] — а у нас полезнейшие проекты под сукном по полугоду лежат, и никто ни о чем подумать не хочет! Момент, говорят, не наступил; но уловите же наконец этот момент... sacrebleu!..[2]

Генечка слушал терпеливо и от времени до времени качал головой. Он рад был, что вчерашняя история кончилась так благополучно.

Так проводит свой день государственный пóслушник Евгений Филиппыч Люберцев и кончает его пунктуально в час ночи, когда мирно отходит ко сну.

Немного спустя, ему дали составить другую записку. Давно уже начали собирать данные о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы, и наконец отовсюду получены были ответные донесения. Оказывалось, что заставы и шлагбаумы не только полезны, но и самое восстановление их может совершиться легко, без потрясений. Столбы старых шлагбаумов еще доселе стоят невредимы, следовательно, стоит только купить новые цепи и нанять сторожа (буде военное ведомство не даст караула) — и города вновь украсятся и процветут. При сем прилагались и штаты. Генечка рассмотрел это дело очень внимательно. Он воздержался от рассуждений и только в одном месте упомянул об обывательских страстях, к ограждению от коих преимущественно должны служить заставы.

[1] все рушится, все разваливается *(франц.)*.
[2] черт возьми! *(франц.)*

Штаты он нашел умеренными и с помощью первых четырех правил арифметики легко вывел среднюю сумму предстоящих издержек. Оставалось только найти источник для удовлетворения нового расхода. Люберцев сходил за справкой в министерство финансов, но там ему сказали, что государственное казначейство и без того чересчур обременено. Слышал он мельком, что где-то существует калмыцкий капитал, толкнулся и туда, но там встретил почти враждебный отпор («вам какое дело?»). Предстояло одно из двух: или обратить дело к дополнительным запросам, — но тогда оно затянулось бы на неопределенное время, — или же ограждение обывателей от собственных их страстей произвести на счет их самих.

Генечка решил в последнем смысле: и короче, да и вполне справедливо. Дело не залежится, а между тем идея государственности будет соблюдена. Затем он составил свод мнений, включил справку о недостаточности средств казны и неприкосновенности калмыцкого капитала, разлиновал штаты, закруглил — и подал.

Директор одобрил записку всецело, только тираду о страстях вычеркнул, найдя, что в деловой бумаге поэзии и вообще вымыслов допустить нельзя. Затем положил доклад в ящик, щелкнул замком и сказал, что когда наступит момент, тогда все, что хранится в ящике, само собой выйдет оттуда и увидит свет.

Шаг этот был важен для Люберцева в том отношении, что открывал ему настежь двери в будущее. Ему дали место помощника столоначальника. Это было первое звено той цепи, которую ему предстояло пройти. Сравнительно, новое его положение досталось ему довольно легко. Прошло лишь семь-восемь месяцев по выходе из школы, и он, двадцатилетний юноша, уже находился в служебном круговороте, в качестве рычага

государственной машины. Рычага маленького, почти незаметного, а все-таки...

По этому случаю у стариков Люберцевых был экстраординарный обед. Подавали шампанское и пили здоровье новобранца. Филипп Андреич сиял; Анна Яковлевна (мать) плакала от умиления; сестрицы и братцы говорили: «Je vous félicite»[1]. Генечка был несколько взволнован, но сдерживался.

— Я в нем уверен, — говорил старик Люберцев, — в нем наша, люберцевская кровь. Батюшка у меня умер на службе, я — на службе умру, и он пойдет по нашим следам. Старайся, мой друг, воздерживаться от теорий, а паче всего от поэзии... ну ее! Держись фактов — это в нашем деле главное. А пуще всего пекись об здоровье. Береги себя, друг мой, не искушайся! Ведь ты здоров?

— Здоров, папенька.

— Ну, и слава богу. А теперь, на радостях, еще по бокальчику выпьем — вон, я вижу, в бутылке еще осталось. Не привык я к шампанскому, хотя и случалось в посторонних домах полакомиться. Ну, да на этот раз, ежели и сверх обыкновенного весел буду, так Аннушка простит.

И, вновь выпив здоровье новобранца, Филипп Андреич продолжал:

— Ты обо мне не суди по-теперешнему; я тоже повеселиться мастер был. Однажды даже настоящим образом был пьян. Зазвал меня к себе начальник, да в шутку, должно быть, — выпьемте да выпьемте! — и накатил! Да так накатил, что воротился я домой — зги божьей не вижу! Сестра Аннушкина в ту пору у нас гостила, так я Аннушку от нее отличить не могу: пойдем, — говорю! Месяца два после этого Анюта меня все пьяницей звала. Насилу оправдался.

---

[1] Поздравляю *(франц.)*.

— Так вот вы какой, папенька!

С получением штатного места пришлось несколько видоизменить modus vivendi[1]. Люберцев продолжал принимать у себя раз в неделю, но товарищей посещал уже реже, потому что приходилось и по вечерам работать дома. Дружеский кружок редел; между членами его мало-помалу образовался раскол. Некоторые члены заразились фантазиями, оказались чересчур рьяными и отделились.

Люберцев быстро втягивался в службу, и по мере того, как он проникал в ее сердце, идея государственности заменялась идеей о бюрократии, а интерес государства превращался в интерес казны. Слова и мнения старика отца с каждым днем все больше и больше принимали для сына значение непререкаемости. Он вполне усвоил себе идею главенства фактов и устранил вымысел и теорию навсегда. Если речь идет о снабжении городовых свистками, то только о свистках и писалось, а рассуждения на тему о безопасности допускались лишь настолько, насколько это нужно для оправдания свистков. «В видах ограждения безопасности обывателей, необходимо снабдить городовых свистками», только и всего. Потому что, ежели начать с того, что главная забота государства заключается в том... — то это уж будет не доклад, а бред. Залезешь в такую трущобу, что потом и не вылезешь. Ведь идея государственности и в обнаженном изложении фактов просочится сама собой — стало быть, ничего другого и не требуется. Это складка, которую он получил уже на школьной скамье и которая никогда его не оставит; зачем же выставлять ее напоказ и замедлять стройное и логическое изложение экскурсиями по сторонам?

— Ты не очень, однако, в канцелярщину затягивайся! — предостерегал его отец,— надседаться будешь —

[1] образ жизни (*лат.*).


Дело

пожалуй, и на шею сядут. Начальство тоже себе на уме; скажет: вот настоящий помощник столоначальника, и останешься ты аридовы веки в помощниках. Действуй вольно, показывай вид, что не очень дорожишь, что тебя везде с удовольствием приютят. Тогда тобой дорожить станут, настоящим образом труд твой будут ценить. Я десять лет вице-директором состою, да то — я, а тебе я этого не желаю. Связей не упускай, посещай людей, рассматривай. И старых знакомых, которые полезны, не упускай, и новых знакомств не беги. Мудреная, брат, это наука — жизнь! Ну, да, бог даст, ты справишься.

Генечка последовал и этому совету. Он даже сошелся сРостóкиным, хотя должен был, так сказать, привыкать к его обществу. Через Ростóкина он надеялся проникнуть дальше, устроить такие связи, о каких отец и не мечтал. Однако ж сердце все-таки тревожилось воспоминанием о товарищах, на глазах которых он вступил в жизнь и из которых значительная часть уже отшатнулась от него. С одним из них он однажды встретился.

— А помнишь, как Ростóкин всех нас обозвал засушинами? — спросил прежний сочлен по «умным» вечерам, — глуп-глуп, а правду сказал. Ты не совсем еще засох?

Люберцев кисло улыбнулся в ответ.

— Засохнешь — в этом не сомневайся! — продолжал товарищ. — Смотри, как бы, вместо государственных-то людей, в простых подьячих не очутиться!

Но Генечка этого не опасался и продолжал преуспевать. Ему еще тридцати лет не было, а уже самые лестные предложения сыпались на него со всех сторон. Он не раз мог бы получить в провинции хорошо оплаченное и ответственное место, но уклонялся от таких предложений, предпочитая служить в Петербурге, на

глазах у начальства. Много проектов он уже выработал, а еще больше имел в виду выработать в непродолжительном времени. Словом сказать, ему предстояло пролить свет...

Хотя свет этот начинал уже походить на тусклое освещение, разливаемое сальной свечой подьячего, но от окончательного подьячества его спасли связи и старая складка государственности, приобретенная еще в школе. Тем не менее он и от чада сальной свечки был бы не прочь, если б убедился, что этот чад ведет к цели.

Тридцати лет он уже занимал полуответственный пост, наравне с Сережей Ростóкиным. Мысль, что служебный круговорот совершенно тождествен с круговоротом жизненным и что успех невозможен, покуда представление этой тождественности не будет усвоено во всей его полноте, все яснее и яснее обрисовывалась перед его умственным взором. И он, не торопясь, но настойчиво, начал подготовлять себя к применению этой мысли на практике.

К этому времени отец его совсем состарился, но все еще занимал прежнюю должность. Он с любовью следил за успехами сына, хотя, признаться, многого уже не понимал в его поступках. Его радовало, что сын здоров, что он на виду, — ничего другого он не желал. Старуха мать заботливо приискивала сыну приличную партию и однажды даже совсем было высватала ему богатенькую купеческую дочь, Пóхотневу, и Генечка чуть не соблазнился блестящим приданым и даже решил в уме, что неловко звучащую фамилию «Пóхотнев» можно без труда изменить на «Пахóтнев» (madame de Lubertzeff, née de Pakhotneff)[1]. Но, по зрелом рассуждении, нашел, что еще рано садиться в гнездо, и предпочел сохранить независимость.

[1] г-жа Люберцева, урожденная Пахотнева *(франц.)*.

В настоящее время служебная его карьера настолько определилась, что до него рукой не достать. Он вполне изменил свой взгляд на служебный труд. Оставил при себе только государственную складку, а труд предоставил подчиненным. С утра до вечера он в движении: ездит по влиятельным знакомым, совещается, шушукается, подставляет ножки и всячески ограждает свою карьеру от случайности.

— Связи — вот главное! — говорит он отцу, — а как будет такой-то служебный вопрос решен, за или против, — это для меня безразлично. Перемелется — все мука́ будет. Заручившись связями, я спокоен, да мне и приятно находиться в постоянном движении. Высшие сферы имеют чарующую, притягательную силу. Тут и роскошь обстановки, и непрерывная изворотливость мысли, и интерес неожиданных поворотов служебного ветра, то радующих, то пугающих, и роскошные женщины. Женщина, выхоленная, выдрессированная, сама по себе уже представляет для глаз неисчерпаемый источник наслаждений, а на любом рауте перед вами дефилируют десятки таких женщин. Свет, благоуханье, обнаженные плечи... Помилуйте! зачем я буду корпеть дома и перебирать бюрократическую ветошь, которая все равно ни к чему не поведет!

Старик выслушивает эти речи с некоторым удивлением, но не противоречит. Он просто думает, что, за старостью лет, отстал от времени и что, стало быть, все это нужно, ежели Генечка не может иначе поступать.

От времени до времени Люберцеву приходит на мысль, что теперь самая пора обзавестись своим семейством. Он тщательно приглядывается, рассматривает, разузнает, но делает это сам, не прибегая к постороннему посредничеству. Вообще подходит к этому вопросу с осторожностью и надеется в непродолжительном времени разрешить его.

ЧЕРЕЗОВЫ, МУЖ И ЖЕНА

Оба молоды, и оба без устали работают.

Женились они всего три месяца назад, и только брачный день позволили себе провести праздно. Сватовство было недолгое. Семен Александрыч в первый раз увидел Надежду Владимировну в конторе, где она работала и куда он заходил за справкой. Затем раз пять им пришлось сидеть рядом за общим столом в кухмистерской. Разговорились; оказалось, что оба работают. Оба одиноки, знакомых не имеют, кроме тех, с которыми встречаются за общим трудом, и оба до того втянулись в эту одинокую, не знающую отдыха жизнь, что даже утратили ясное сознание, живут они или нет.

— Хоть в праздники-то вы свободны ли? — однажды спросил он у нее.

— Да, но без работы скверно; не знаешь, куда деваться. В нумере у себя сидеть, сложивши руки, — тоска! На улицу выйдешь — еще пуще тоска! Словно улица-то новая; в обыкновенное время идешь и не примечаешь, а тут вдруг... магазины, экипажи, народ... К товарке одной — вместе работаем — иногда захожу, да и она уже одичала. Посидим, помолчим и разойдемся.

— Это уж вроде схимы...

— А что вы думаете? именно схима! Даже вериги чувствовать начинаю.

— Вы бы что-нибудь читали хоть в праздник...

— Отвыкла. Ничто не интересует. Говорю вам, совсем одичала. В театр изредка в воскресенье схожу — и будет! А вы?

Он безнадежно махнул рукой в ответ.

— Тоже недалеко от схимы?

— Чего недалеко! весь веригами опутан... каким образом? из-за чего?

— Как из-за чего? Жизнь-то не достается даром. Вот и теперь мы здесь роскошествуем, а уходя все-таки сорок пять копеек придется отдать. Здесь сорок пять, в другом месте сорок пять, а в третьем и целый рубль... надо же добыть!

— И таким образом проходит вся жизнь?

— Жизнь только еще начинается. Потом она будет продолжаться, а затем и конец.

— Именно так: начинается, продолжается и кончается — только и всего. Но неужто вы совсем одни? ни родных, ни знакомых?

— Одна. Отец давно умер, мать — в прошлом году. Очень нам трудно было с матерью жить — всего она пенсии десять рублей в месяц получала. Тут и на нее и на меня; приходилось хоть милостыню просить. Я, сравнительно, теперь лучше живу. Меня счастливицей называют. Случай как-то помог, работу нашла. Могу комнату отдельную иметь, обед; хоть голодом не сижу. А вы?

— И я один; ни отца, ни матери не помню; воспитывался на какие-то пожертвования. Меня начальник школы и на службу определил. И тоже хоть голодом не сижу, а близко-таки... Когда приходится туго, призываю на помощь терпение, изворачиваюсь, удвоиваю старания, — и вот, как видите!

— Скучно вам?

— Скучать некогда. Даже о будущем подумать нет времени. Иногда и мелькнет в голове: надо что-нибудь... не всегда же... да только рукою махнешь. Авось как-нибудь, день за день, и пройдет... жизнь.

— Да; трудно что-нибудь выдумать. Жить надо — только и всего.

Спустя некоторое время, после одного из таких разговоров, он спросил ее:

— А что, если мы вместе будем работать?

Она на минуту смутилась и побелела. Но затем щеки

у нее заалели румянцем, она подала ему руку и бодро ответила:

— Будемте.

Через месяц они были муж и жена, и, как я сказал выше, позволили себе в праздности провести будничный день. Но назавтра оба уж были в работе.

Ей посчастливилось. Утром она работала в банкирской конторе, вечером — имела урок. Все это вместе давало ей около восьмисот рублей в год. В летнее время доход уменьшался, за отъездом ученицы; но тогда она приискивала другую работу, хотя и подешевле. Вообще вопрос о безработице не коснулся ее. Он тоже успел довольно прочно устроиться; утром ходил в департамент, где служил помощником столоначальника; вечером — имел занятия в одном из железнодорожных правлений. Доход его простирался до полутора тысяч, так что оба вместе они получали в год до двух тысяч пятисот рублей.

Им завидовали и говорили, что на эти деньги вдвоем прожить можно не только без нужды, но даже позволяя себе некоторые прихоти. И они соглашались с этим. Кругом они видели столько бедности и наготы, что заработок их действительно представлялся суммою очень достаточною. Несмотря на это, они никогда не испытывали даже слабого довольства. Продолжали жить, по-прежнему, со дня на день, с трудом сводя концы с концами, и — что всего хуже — постоянно испытывали то чувство страха перед будущим, которое свойственно всем людям, живущим исключительно личным трудом. Что́, ежели вдруг случится заболеть? что, ежели в уроке не будет надобности? что, ежели частная служба изменит? соперник явится, место упразднится, в работе окажется недосмотр, начальник неудовольствие выкажет? Все эти вопросы даже усиленною работою не заглушались, а волновали и

мучили с утра до вечера. Некогда было подумать о том, зачем пришла и куда идет эта безрассветная жизнь... Но о том, что эта жизнь может мгновенно порваться, думалось ежемгновенно, без отдыха.

В сущности, неправы были те, которые удивлялись, что они, при своем заработке, не умеют прожить иначе, как с величайшею осторожностью. Если бы эти деньги являлись, например, в виде заработка главы семейства, а она пользовалась хоть относительным досугом, тогда действительно жизнь не представляла бы особенных недостач с материальной стороны. Личный домостроительный труд помогает сокращать издержки на добрую треть. Можно вовремя распорядиться, вовремя закупить, — был бы досуг. Стоит только сходить за четыре версты — ноги-то свои, не купленные! — за курицей, за сигом, стоит выждать часа два у окна, пока появится во дворе знакомый разносчик, — и дело в шляпе. Рубля двоим на обед за глаза достаточно, даже и с детьми, ежели их немного; пожалуй, и пирог в праздник будет. И прислуга заведется, и опять-таки дешевенькая... Где-нибудь в колонии, из-за хлеба, молодую девчонку отыщут и приучат ее понемногу. В конце года, смотришь, окажется даже экономия. Муж доволен, что сыт; жена довольна, что бог их и с семьею за рубль прокормил; у детей щеки от праздничного пирога лоснятся. Квартира — ничего себе, стол — ничего себе; извозчика, правда, нанять не из чего — ну, да ведь не графы и не князья, и на своих на двоих дойти сумеем. Даже приятели вечером придут — и для тех закуска найдется. В винт по сотой копейки засядут, проиграет глава семейства рубль — и не поморщится. Вот как на две-то с половиной тысячи умные люди живут, а не то чтобы что.

Ничем подобным не могли пользоваться Черезовы по самому характеру и обстановке их труда. Оба работали и утром, и вечером вне дома, оба жили в готовых,

однажды сложившихся условиях и, стало быть, не имели ни времени, ни привычки, ни надобности входить в хозяйственные подробности. Это до того въелось в их природу, с самых молодых ногтей, что если бы даже и выпал для них случайный досуг, то они не знали бы, как им распорядиться, и растерялись бы на первом шагу при вступлении в практическую жизнь.

Сделавшись мужем и женой, они не оставили ни прежних привычек, ни бездомовой жизни; обедали в определенный час в кухмистерской, продолжали жить в меблированных нумерах, где занимали две комнаты, и, кроме того, обязаны были иметь карманные деньги на извозчика, на завтрак, на подачки сторожам и нумерной прислуге и на прочую мелочь. А там еще одежда, белье — ведь на частную работу или на урок не пойдешь засуча рукава в ситцевом платье, как ходит в лавочку домовитая хозяйка, которая сама стоит на страже своего очага. Одним словом, приходилось тратить полтора рубля там, где у домовитого хозяина выходило не больше рубля. Но зато они тратили деньги без хлопот, точно как по прейскуранту.

Сходились они обыкновенно за обедом в кухмистерской и дома в поздний час. Оба приходили усталые, обоим было не до разговоров. Пили чай, съедали принесенную закуску и засыпали, чтобы на другой день, около десяти часов утра, разойтись. Но с праздниками им удалось устроиться так, что они проводили целый день вместе. Утром он ей читал, и непременно что-нибудь печальное, так как это всего больше соответствовало их душевному настроению; вечером — ходили в театр. В праздники же им случалось разговаривать по душе, но беседа шла больная, скорее растравляющая, нежели успокоивающая. Во всяком случае, заработок утекал незаметно, так что они были рады, если год кончался без особенных затруд-

нений, вроде долга мелочной лавочке или хозяйке квартиры.

Страх перед завтрашним днем ни на минуту не оставлял их. Оба принадлежали к тому типу обыкновенных, смирных людей, которые инстинктивно стремятся к одной цели: самосохранению. Может быть, при других обстоятельствах, при иной школе, сердца их раскрылись бы и для иных идеалов, но труд без содержания, труд, направленный исключительно к целям самосохранения, окончательно заглушил в них всякие зачатки высших стремлений. Они не сознавали даже, что этот труд, который доставляет им дневной кошт, в то же время мало-помалу убивает их и навсегда лишает возможности различать добро от зла. Не вникая в содержание труда, они ценили его лишь с точки зрения оплаты и охотно брались за *всякую* работу, лишь бы она была оплачена. Постыдного они, правда, не делали, но кто же и поручит им что-нибудь постыдное? Для постыдного и люди должны быть постыдные, прожженные, дошлые люди, которые могут и пролезть, и вылезть, и сухими из воды выйти, — куда же им с их простотой! ведь им и на ум ничего постыдного не придет! Это просто не жившие, но уже измученные жизнью люди, и только. Бояться и трепетать — вот их дело. Все разговоры их ведутся на эту тему и не исчерпаются никогда, потому что они всецело сосредоточились в испуге, и никакие влияния, ни внешние, ни внутренние, не могут внести иные элементы в их скудное существование. Нет этих влияний, и неоткуда им прийти; труд для труда, труд, падающий в какую-то бездну и мгновенно поглощаемый ею, погубил всякую восприимчивость, всякий зачаток самодеятельности.

— Боюсь я, как бы урока мне не лишиться, — говорила она.

— А что?

— Да так; ученица моя поговаривает, что отец ее совсем из Петербурга хочет уехать. Пожалуй, двадцать-то пять рублей в месяц и улыбнутся.

— Скверно; ну, да бог даст...

— Я уж и то стороной разузнаю, не наклюнется ли чего-нибудь... Двоюродная сестра у моей ученицы есть, так там тоже учительнице хотят отказать... вот кабы!

— Ищи, голубушка; только не тяжело ли будет, ежели два урока придётся давать?

— Ничего, устроюсь. Надо же. Да вот что я еще хотела тебе сказать, Сеня. Бухгалтер у нас в конторе ко мне пристает... с тех пор как я замуж вышла. Подсаживается ко мне, разговаривает, спрашивает, люблю ли я конфекты...

— Мерзавец!

— И я говорю, что мерзавец, да ведь когда зависишь... Что, если он банкиру на меня наговорит? — ведь, пожалуй, и там... Тут двадцать пять рублей улыбнутся, а там и целых пятьдесят. Останусь я у тебя на шее, да, кроме того, и делать нечего будет... С утра до вечера все буду думать... Думать да думать, одна да одна... ах, не дай бог!

— Ну, как-нибудь обойдется; ты у меня молодец, вывернешься. Вот у нас в правлении должность бухгалтера скоро очистится,— разве попытать?

— А у тебя как свое-то дело идет?

— Покуда — ничего. В департаменте даже говорят, что меня столоначальником сделают. Полторы тысячи — ведь это куш. Правда, что тогда от частной службы отказаться придется, потому что и на дому казенной работы по вечерам довольно будет, но что-нибудь легонькое все-таки и посторонним трудом можно будет заработать, рубликов хоть на триста. Квартиру наймем; ты только вечером на уроки станешь ходить, а по утрам дома будешь сидеть; хозяйство свое заведем — живут же другие!

— Ах, боюсь я! — особенно этот бухгалтер... Придется опять просить, кланяться, хлопотать, а время между тем летит. Один день пройдет — нет работы, другой — нет работы, и каждый день урезывай себя, рассчитывай, как прожить дольше... Устанешь хуже, чем на работе. Ах, боюсь!

Теперь они боятся в особенности, потому что Надежда Владимировна готовится сделаться матерью. Ах, что-то будет? что такое будет, даже представить себе нельзя!.. Сколько рабочих дней отнимут одни роды, а потом и ребенок. Надо его кормить, пеленать, мыть, отлучиться от него нельзя. Да и как тут поступить — не знаешь. Настанут роды — к кому обратиться, куда идти, что́ будет стоить, и вообще как совершается весь этот процесс? Прислуга — дорогая и ненадежная, да материнского сердца и не уймешь. Вот тогда-то действительно придется бросить бездомную жизнь, нанять квартиру, лишиться главного заработка, засучить рукава, взять скалку в руки и раскатывать на столе тесто для пирога. На какие деньги они будут жить! Хоть и обещали Семену Александрычу место столоначальника, да что-то не слыхать, а сам он заискивать и напоминать о себе не смеет. Фальшивые нынче люди, не верные! все их обещания на воде писаны. Ах, не сумеют они своим домом жить. В меблированных комнатах — все готово, в кухмистерской — тоже. Так они прожили всю жизнь и другой жизни не знают. И вдруг очутятся в пространстве на собственной ответственности — вот где настоящая-то мука! Везде — обман, везде — фальшь, а ежели и нет обмана, то будет казаться, что он есть.

— Куда мы с тобой денемся? — мучительно спрашивает она его.

Он тоже глядит вопросительно, хочет сказать что-нибудь и не может. Он сам не раз задавался этим вопросом и ни к какому решению не пришел.

— Скажи, что мы будем делать? — настаивает она.

— Ах, да не мучь ты меня!

— Через три месяца у нас ребенок будет. Надо теперь же начать... Ходи, старайся, хлопочи!

— Стесниться придется на первое время...

— Нет, стесниться уж больше некуда, и без того тесно. Говорю тебе: надо кланяться, напоминать о себе, хлопотать... Хлопочут же другие...

— Ну, хорошо, попытаюсь.

Но че́резовская удача и тут приходит к ним на выручку. Через месяц Семена Александрыча делают хоть и не столоначальником, — начальство думает, что для этой должности он недостаточно боек, — а чем-то вроде регистратора, с столоначальническим окладом. Это, впрочем, еще лучше, потому что у регистратора вечерних занятий нет; стало быть, можно будет и частную службу за собой оставить. Только вот будущее как будто захлопнулось навсегда; но на радостях он об этом не думает. Да и никогда, признаться, не думал, потому что *никогда* дверь будущего не была перед ним настежь раскрыта. Однако ж Надежду Владимировну этот полууспех мужа несколько смутил.

— Зачем мы сошлись! зачем мы живем! — мучительно волнует она себя.

— Ты сама кормить будешь? — спрашивает он ее, прерывая ее думу.

— Ах, почем я знаю! Зачем, зачем мы сошлись! жили бы мы...

До последней возможности они, однако ж, живут в меблированных комнатах. Черезов успел, на всякий случай, скопить несколько денег, несмотря на то, что Надежда Владимировна лишилась места в банкирской конторе. Она сидит по утрам дома, готовится и помаленьку всматривается в жизнь. Открытий оказалась бездна, но хозяйка квартиры и соседка по комнате не

оставляют ее и помогают своими указаниями хоть сколько-нибудь освоиться с жизнью. Обе учат, что нужно приготовить для ожидаемого первенца, и советуют лечь в родильный дом.

— Где вам справиться, ничего вы в жизни не видели! — говорят они в один голос, — ни вы, ни Семен Александрыч и идти-то куда — не знаете. Так, попусту, будете путаться.

Так и сделали. Она ушла в родильный дом; он исподволь подыскивал квартиру. Две комнаты; одна будет служить общею спальней, в другой — его кабинет, приемная и столовая. И прислугу он нанял, пожилую женщину, не ветрогонку и добрую; сумеет и суп сварить, и кусок говядины изжарить, и за малюткой углядит, покуда матери дома не будет.

— Проживем! — утешает он себя.

Наконец ожидаемый первенец увидел свет. И благо ему, что он вступил в жизнь в родильном доме, при готовом уходе и своевременной врачебной помощи, потому что, произойди этот случай в своей квартире, Семен Александрыч, наверное, запутался бы в самую критическую минуту. Родился сын, и Надежда Владимировна решила кормить его сама. Спустя урочное время, она вышла из родильного дома, но работать еще не могла. Уход за ребенком был так сложен, что отнимал все время, да и заработка в виду не было. Надо было переждать и потом опять просить, хлопотать. Тем не менее они *продолжали жить* — и это было все, что нужно.

Спустя некоторое время нашлась вечерняя работа в том самом правлении, где работал ее муж. По крайней мере, они были вместе по вечерам. Уходя на службу, она укладывала ребенка, и с помощью кухарки Авдотьи устраивалась так, чтобы он до прихода ее не был голоден. Жизнь потекла обычным порядком, вялая, серая, даже серее прежнего, потому что в своей квар-

тире было голо и царствовала какая-то надрывающая сердце тишина.

Даже ребенок не особенно радовал Черезовых. Они до самой минуты его рождения ничего такого не предвидели, и теперь их единственно занимал вопрос: как он проживет (разумеется, с материальной стороны)? То есть тот самый вопрос, который их самих ежеминутно терзал и который они инстинктивно переносили и на ребенка. Этот вопрос обнимал собою и высшую любовь, и высшее нравственное убожество. Высшую любовь — потому что в благополучном его разрешении заключалось, по их воззрению, все благо, весь жизненный идеал; высшее нравственное убожество — потому что, даже в случае удачного разрешения вопроса о пропитании, за ним ничего иного не виделось, кроме пустоты и безнадежности.

Ребенок рос одиноко; жизнь родителей, тоже одинокая и постылая, тоже шла особняком, почти не касаясь его. Сынок удался — это был тихий и молчаливый ребенок, весь в отца. Весь он, казалось, был погружен в какую-то загадочную думу, мало говорил, ни о чем не расспрашивал, даже не передразнивал разносчиков, возглашавших на дворе всякую всячину.

— Ты у меня, Гриша, будешь умница? — спрашивал Семен Александрыч, гладя его по голове.

Гриша удивленно взглядывал на отца, как бы говоря: неужто можно сомневаться в этом?

Из Надежды Владимировны даже посредственной хозяйки не вышло. Она рассудила, с своей точки зрения, очень правильно: на хозяйстве, как ни бейся, все-таки выгадаешь какой-нибудь двугривенный, тогда как «работа» во всяком случае даст рубль. И, заручившись этою истиной, подыскала себе утренний урок, который на два часа сокращал ее домашнюю жизнь. Теперь у нее явилось страстное желание копить; но скапливались такие пустяки, что просто совестно. Слы-

хала она, правда, анекдот про человека, который, выходя из дома, начинал с того, что кликал извозчика, упорно держась гривенника, покуда не доходил до места пешком, и таким образом составил себе целое состояние. Но как-то плохо верилось этому анекдоту, когда, несмотря на все урезыванья, в результате оказывалось, что годовой доход увеличивался на каких-нибудь пять рублей.

— Сколько он башмаков в год износит! — сетовала она на Гришу, — скоро, поди, и из рубашек вырастет... А потом надо будет в ученье отдавать, пойдут блузы, мундиры, пальто... и каждый год новое! Вот когда мы настоящую нужду узнаем!

Словом сказать, сетованиям и испугу конца не было. Даже кухарка Авдотья начала скучать, слыша беспрестанные толки о добыче и трудностях жизни.

— Точно вы на каторге оба живете! — ворчала она, — по-моему, день прошел — и слава богу! сегодня прошел — завтра прошел,— что тут загадывать!

Она одна относилась к ребенку по-человечески, и к ней одной он питал нечто вроде привязанности. Она рассказывала ему про деревню, про бывших помещиков, как им привольно жилось, какая была сладкая еда. От нее он получил смутное представление о поле, о лесе, о крестьянской избе.

— И как это ты проживешь, ничего не видевши! — кручинилась она, — хотя бы у колонистов на лето папенька с маменькой избушку наняли. И недорого, и, по крайности, ты хоть настоящую траву, настоящее деревцо увидал бы, простор узнал бы, здоровья бы себе нагулял, а то ишь ты бледный какой! Посмотрю я на тебя,— и при родителях ровно ты сирота!

Изредка она уводила его на рынок или в лавку: пускай, по крайности, хоть на людей посмотрит, каковы таковы живые люди бывают!

Однако ж главное все-таки было в порядке, и черезовская удача продолжала не изменять. Семен Александрыч регистраторствовал с таким тактом, что начальник говорил про него: «В первый раз вижу человека, который попал на свое место,— именно таков должен быть истинный регистратор!»

Частная служба хотя не представляла прежней устойчивости, особливо у Надежды Владимировны, но все-таки не приносила особенных ущербов. Колесо было пущено, составилась репутация, — стало быть, и с этой стороны бояться было нечего. Но бояться чего-нибудь все-таки было надобно. Боялись, что вдруг придет болезнь и поставит кого-нибудь из них в невозможность работать...

— Что тогда мы будем делать! — мучилась Надежда Владимировна.

— Да, на казенной-то службе еще потерпят, — вторил ей Семен Александрыч, — а вот частные занятия... Признаюсь, и у меня мурашки по коже при этой мысли ползают! Однако что же ты, наконец! все слава богу, а тебе с чего-то вздумалось!

По временам его самого начинали уже обременять назойливые страхи, которые преследовали Надежду Владимировну. Он настолько обтерпелся, что ему было почти удобно. Каторга не изнурила его, а, напротив, казалось, укрепила и закалила. К петербургской атмосферической сутолоке, с ее сыростью, изменчивостью и непогодами, он привык и чувствовал себя вполне здоровым; жена и сын тоже никогда не бывали больны. Зачем же придумывать напрасные угрозы в будущем? Авдотья рассуждает в этом случае правильнее: день прошел, и слава богу! в их положении иначе не может и быть.

«А что, если и в самом деле... — внезапно мелькало у него в голове. — Что тогда?»

Он усиленно зарывался в работу, чтоб заглушить эти мысли, чтобы не терзали они его.

Оказалось, однако ж, что Надежда Владимировна была права: черезовская удача совсем неожиданно изменила. Все шло своим порядком, тихо, безмятежно и вдруг порвалось. И именно порвала болезнь.

Однажды, глубокой осенью, Черезов возвращался вечером из своего правления. Идти было довольно далеко, а на улице точно светопреставление царствовало. Дождь лил как из ведра, тротуары были полны водой, ветер выл как бешеный и вместе с потоками дождя проникал за воротник пальто. Впрочем, Черезову не в первый раз приходилось видеть картины петербургского безвременья; он прибавил шагу и шел. Но, пришедши домой, почти мгновенно почувствовал легкий озноб: оказалось, что он промочил ноги. Жена раздела его, напоила наскоро чаем, укутала и уложила в постель. Предчувствие грозы уже томило ее, но на этот раз она не высказалась. К двум часам ночи он был весь в огне и разбудил жену. Хотели бежать за доктором, но было так поздно и непогода так разыгралась, что он посовестился. Ограничились тем, что опять напоили его чаем и еще плотнее укутали.

— Теперича его в пот вгонит, — утешала Авдотья, — а к утру пóтом болезнь и выгонит. Посидит денька два дома, а потом и опять молодцом на службу пойдет!

Но пóта не появлялось; напротив, тело становилось все горячее и горячее, губы запеклись, язык высох и бормотал какие-то несвязные слова. Всю остальную ночь Надежда Владимировна просидела у его постели, смачивая ему губы и язык водою с уксусом. По временам он выбивался из-под одеяла и пылающею рукою искал ее руку. Мало-помалу невнятное бормотанье превратилось в настоящий бред. Посреди этого бреда появлялись минуты какого-то вымучен-

ного просветления. Очевидно, в его голове носились терзающие воспоминания.

— Что я делал? Зачем жил? — стонал он и затем, обращаясь к жене, повторял: — Что мы делали? зачем жили?

Утром, часу в девятом, как только на дворе побелело, Надежда Владимировна побежала за доктором; но последний был еще в постели и выслал сказать, что приедет в одиннадцать часов.

Когда она воротилась домой, больной как будто утих, но все-таки не спал, а только находился в лихорадочном полузабытьи. Почуяв ее присутствие, он широко открыл глаза и, словно сквозь сон, сказал:

— Что мы делали? зачем жили?

Затем он опять начал метаться, повторяя:

— Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Она стояла возле него, неподвижная, бледная, замученная, и вслед за ним так же, словно сквозь сон, твердила:

— Ах, какие все пустяки! пустяки! пустяки! пустяки!

Даже Авдотья, стоя поодаль и утирая слезы концом головного платка, всхлипывала:

— Надорвался!.. сердечный!

Сын (ему было уже шесть лет) забился в угол в кабинете и молчал, как придавленный, точно впервые понял, что перед ним происходит нечто не фантастическое, а вполне реальное. Он сосредоточенно смотрел в одну точку: на раскрытую дверь спальни — и ждал.

В одиннадцать часов приехал доктор, осмотрел больного и осторожно заявил, что Черезов безнадежен.

— До вечера, может быть, доживет, — сказал он, — но в ночь... Впрочем, я вечерком забегу.

— Что такое мы делали? Зачем, зачем мы жили? — стонал между тем больной.

К вечеру, едва смерклось, как началась агония. Сравнительно он умирал покойно и уже в полном сознании сказал жене:

— Надя! Тебе будет трудно... Не справиться... И сама ты, да еще сын на руках. Ах, зачем, зачем была дана эта жизнь? Надя! Ведь мы на каторге были, и называли это жизнью, и даже не понимали, из чего мы бьемся, что делаем; ничего мы не понимали!

В шесть часов вечера его не стало. Черезовская удача до такой степени изменила, что он не воспользовался даже льготным сроком, который на казенной службе дается заболевшим чиновникам. Надежда Владимировна совсем растерялась. Ей не приходило в голову, что нужно обрядить умершего, послать за гробовщиком, положить покойника на стол и пригласить псаломщика. Все это сделала за нее Авдотья.

Через два дня его схоронили у Митрофания на счет небольшого пособия, присланного из департамента. Похороны состоялись без помпы, хотя департамент командировал депутата для присутствования. Депутат доехал на извозчике до Измайловского проспекта, там юркнул в первую кондитерскую и исчез. За гробом дошли до кладбища только Надежда Владимировна и Авдотья.

Но тут черезовская удача опять воротилась. Надежде Владимировне назначили пенсию в триста рублей, хотя муж ее никакого пенсионного срока не выслужил, а в таком размере и подавно.

Она и теперь продолжает работать с утра до вечера. Теряя одну работу, подыскивает другую, так что «каторга» остается в прежней силе.

ЧУДИНОВ

> Нет, вздумал странствовать один из них, лететь...

Он сам определенно не сознает, что привело его из глубины провинции в Петербург. Учиться и, для того чтобы достигнуть этого, отыскать работу, которая давала бы средства хоть для самого скудного существования, — вот единственная мысль, которая смутно бродит в его голове.

Николай Чудинов — очень бедный юноша. Отец его служит главным бухгалтером казначейства в отдаленном уездном городке. По-тамошнему, это место недурное, и семья могла содержать себя без нужды, как вдруг сыну пришла в голову какая-то «гнилая фантазия». Ему было двадцать лет, а он уже возмечтал! Учиться! разве мало он учился! Слава богу, кончил гимназию — и будет.

Действительно, Николай уже прошел гимназический курс и готовился поступить в университет, когда Андрей Тимофеич вызвал его к себе, находя, что учиться довольно. Юноша приехал; его сейчас же зачислили в штат полицейского управления и назначили двенадцать рублей месячного жалованья; при готовых хлебах и даровой квартире этого было достаточно. Предстояло на трудовой заработок только одеться, обуться да кой-какие мелочи исправить. Посидит на этом окладе, а скоро, глядишь, и прибавят рубля три. И таким-то образом не всякому удается начинать. А затем и в уезде — дорога широкая. И в становые пристава, и в непременные члены, а может быть, и в исправники — всюду пройти можно,— был бы царь в голове. А не то так и в мировые учреждения, в земство. У Андрея Тимофеича есть связи в уезде. Всем до казначейства есть дело, а он — душа казначейства. Стало быть, того, другого попросит, состоится единогласное

избрание — вот и мировой судья готов. Шутка сказать! ведь это две тысячи рублей одного содержания, а с канцелярией да с камерой — и не сочтешь, сколько тут денег наберется!

Но юноша, вскоре после приезда, уже начал скучать, и так как он был единственный сын, то отец и мать, натурально, встревожились. Ни на что он не жаловался, но на службе старанья не проявил, жил особняком и не искал знакомств. «Не ко двору он в родном городе, не любит своих родителей!» — тужили старики. Пытали они рисовать перед ним соблазнительные перспективы — и всё задаром.

— Ежели не по нутру тебе полицейская служба — можно в земство махнуть! — говорил отец, — попрошу Ивана Петровича да Семена Николаевича — кому другому, а мне не откажут. Сначала в секретари управы, благо нынешний секретарь в лес глядит, а там куплю на твое имя двести десятин болота, и в члены попадешь. Здесь, мой друг, всё в наших руках. Захотим, так и в судьи попадем, нет нужды, что ты университета не кончил. Того же Ивана Петровича попрошу — он как раз единогласное избрание оборудует. Вот ты и на виду, и в люди показаться не стыдно. Сто́ит только годика два до новых выборов подождать.

Николай не возражал против отцовских увещаний, но и согласия не заявлял. Он продолжал скучать, жить особняком и тревожить родительские сердца. Наконец, однако ж, пришлось высказаться.

— Я бы в Петербург желал, — сказал он нерешительно.

— Что ты там забыл?

— В университет хочу поступить. Начал ученье и не кончил...

— А чем же ты будешь в Петербурге жить?

— Устроюсь как-нибудь. Мне бы только доехать, а

там уроки найду, частные занятия — много ли мне на прожиток нужно!

— Слышал я, что казенные стипендии в триста рублей полагают — стало быть, меньше этого прожить нельзя. Да за лекции от платы освобождают — это тоже счет. Где ты эти триста — четыреста рублей добудешь?

— Как-нибудь...

— С «как-нибудь»-то люди голодом сидят, а ты прежде подумай да досконально все рассчитай! нас, стариков, пожалей... Мы ведь настоящей помощи дать не можем, сами в обрез живем. Ах, не чаяли печали, а она за углом стерегла!

Но сколько старики ни тратили убеждений, в конце концов все-таки пришлось уступить. Собрали кой-как рублей двести на дорогу и на первые издержки и снарядили сынка. В одно прекрасное утро Николай сел с попутчиком в телегу — и след его простыл, а старики остались дома выплакивать остальные слезы.

Однако, по мере приближения к Петербургу, молодой Чудинов начал чувствовать некоторое смущение. Как ни силился он овладеть собою, но страх неизвестного все больше и больше проникал в его сердце. Спутники по вагону расспрашивали его, и что-то сомнительное слышалось в их вопросах и ответах.

— В Петербург? — спрашивали его.

— Да, в Петербург.

— При должности-с?

— Нет, учиться хочу.

— Так-с. При родителях будете жить?

— Нет, родители у меня живут в провинции.

— Ну, все равно, помогать будут?

— И помощи я от них ждать не могу. Сам должен буду о себе заботиться...

— Мудреное дело-с.

— Отчего же? Мне многого не нужно, а добыть урок или два, или какое-нибудь занятие — неужели это так трудно?

— Кандидатов слишком довольно. На каждое место десять — двадцать человек, друг у дружки так и рвут. И чем больше нужды, тем труднее: нынче и к месту-то пристроиться легче тому, у кого особенной нужды нет. Доверия больше, коли человек не жмется, вольной ногой в квартиру к нанимателю входит. Одёжа нужна хорошая, вид откровенный. А коли этого нет, так хошь сто лет грани мостовую — ничего не получишь. Нет, ежели у кого родители есть — самое святое дело под крылышком у них смирно сидеть.

— А ежели учиться хочется?

— Хотение-то наше не для всех вразумительно. Деньги нужно добыть, чтоб хотенье выполнить, а они на мостовой не валяются. Есть нужно, приют нужен, да и за ученье, само собой, заплати. На пожертвования надежда плоха, потому нынче и без того все испрожертвовались. Туда десять целковых, в другое место десять целковых — ан, под конец, и скучно!

И так далее.

Назойливо тянулась эта нить дорожных разговоров, тревожа и волнуя Чудинова. Но вот наконец показался и Петербург.

Чудинов очутился на улице с маленьким саком в руках. Он был словно пьян. Озирался направо и налево, слышал шум экипажей, крик кучеров и извозчиков, говор толпы. К счастию, последний его собеседник по вагону — добрый, должно быть, человек был, — проходя мимо, крикнул ему:

— Коли не знаете, где остановиться, так ступайте к Анне Ивановне в Разъезжую: у нее много горюнов живет. Нумера порядочные, обед — тоже, а главное, сама она добрая. Может быть, и насчет занятий похлопочет. Покуда что, у нее и поживете.

Чудинов, разумеется, последовал этому совету.

Указанные нумера помещались в четвертом этаже громадного дома. Его встретила в дверях сама хозяйка, чистенькая старушка лет под шестьдесят. Было около десяти часов, и нумера пустели; в коридоре то и дело сновали уходящие жильцы.

— Вам нумерок? небольшой? — приветливо спросила хозяйка, оглядывая приезжего.

— Да, из самых недорогих.

— Рублей на пятнадцать с обедом в месяц? удобно это для вас?

Комнатка действительно оказалась совсем маленькая. Одно окно; около двери кровать; в другом углу, возле окна, раскрытый ломберный стол с чернильным прибором; три плетеных стула.

— Обед будет из двух блюд: суп и мясное блюдо,— продолжала хозяйка.— Считается в двадцать копеек; а ежели третье блюдо закажете — прибавка 15 копеек. Обедают в общей столовой между пятью и шестью часами, как кто удосужается. Остальные девять рублей — за квартиру. Мелочных расходов прислуге, дворнику — рубля два в месяц наберется. Чай — ваш, свечи — тоже ваши. Вы место искать приехали?

Чудинов сказал ей.

— Учиться? — переспросила она, — но ведь у вас и в своем округе университет есть? Зачем непременно в Петербург? Вся провинция в Петербург поднялась, а здесь, как нарочно, двери всё плотнее и плотнее запираются! Точно поветрие.

Чудинов не мог ничего более объяснить. Нельзя же сказать, что его влекла в Петербург безотчетная сила, — это было слишком субъективное побуждение, чтобы оправдать серьезный жизненный шаг. Хозяйка согласилась, впрочем, что, раз дело сделано, — не возвращаться же назад. Затем она, без всякой назойливо-

сти, а просто из доброго участия, расспросила его о средствах, которыми он располагает, и об его надеждах в будущем. Оказалось, что у него от дороги осталось около полутораста рублей, что из дома он надеется получать не больше пятидесяти — ста рублей в год и что главный расчет его — на свой собственный труд.

— Занятий приискивать будете? уроков? вот здесь, в нумерах, собственными глазами увидите, легко ли это добывается, — сказала она. — Иные по году бьются, кругом задолжали — и всё ни при чем. Вот, благослови господи, за лекции около двадцати пяти рублей за первое полугодие уплатить нужно, да мундирчики нынче требуются, да объявления в газетах придется печатать, — смотришь, из ваших полутораста-то рублей и немного останется. Ну, да там увидится. И то, правду сказать, запугиваньем дела не поправишь. Были бы хоть на первых порах сыты.

В тот же день, за обедом, один из жильцов, студент третьего курса, объяснил Чудинову, что так как он поступает в юридический факультет, то за лекции ему придется уплатить за полугодие около тридцати рублей, да обмундирование будет стоить, с форменной фуражкой и шпагой, по малой мере, семьдесят рублей. Объявления в газетах тоже потребуют изрядных денег.

— Я двадцать рублей, по крайней мере, издержал, а через полгода только один урок в купеческом доме получил, да и то случайно. Двадцать рублей в месяц зарабатываю, да вдобавок поучения по поводу разврата, обуявшего молодое поколение, выслушиваю. А в летнее время на шее у отца с матерью живу, благо ехать к ним недалеко. А им и самим жить нечем.

— Как же вы на двадцать рублей ухитряетесь жить?



— Да так вот. Отец рубля три в месяц высылает, переписывать рубля на два достаю, по десяти копеек с листа, да и то почти насильно выклянчил. От чая я уж отказался, ем раз в сутки, — сами видите, какая это еда! За лекции уплачивать несколько раз запаздывал, — чуть не исключили. Насилу упросил. Хозяйке и сейчас за три месяца должен, а она тоже из-за корки хлеба бьется. Хорошо, что на третьем курсе состою, хоть обмундирование для меня не обязательно, а для вас и это потребуется. Нынче у нас на первом курсе студенты чистенькие, напомаженные. И душа у них напомаженная. Ходят по улицам, шпагой поигрывают, думают: чем мы хуже пажей? И солдаты им честь отдают, — тоже лестно! Не тот уж ныне университет, что прежде.

Вообще некрасивую картину нарисовал новый знакомец, и в заключение прибавил:

— Не забудьте, что так как вы, после получения аттестата зрелости, два года баклуши били, то для вас потребуется проверочный экзамен. Tolle me, mu, mi, mis, si declinare domus vis[1] — не забыли?

На другой же день начались похождения Чудинова. Прежде всего он отправился в контору газеты и подал объявление об уроке, причем упомянул об основательном знании древних языков, а равно и о том, что не прочь и от переписки. Потом явился в правление университета, подал прошение и получил ответ, что он обязывается держать поверочный экзамен.

Был август месяц в начале, но на дворе уже пахло осенью. Наступало дождливое время, вечера темнели, да благодаря постоянно покрытому тучами небу улицы с утра уже наполнялись сумерками. Но город мало-

[1] Отбрось me, mu, mi, mis, если хочешь просклонять слово дом *(лат.)*.

помалу оживал, уличное движение становилось заметнее и заметнее. С летней каторги обыватели перемещались на зимнюю, в надежде хоть печным теплом отогреться от летних продуваний и сквозных ветров. Сколько при этих переездах испорчено было мебели, сколько распростудилось кухарок — это поймет только коренной петербургский житель, которому ни флюсы, ни желудочные катары, ни плевриты — ничто не в поучение.

Экзамен Чудинов сдал исправно, внес плату за предстоящий учебный семестр и в свое время пунктуально начал посещать университет. По примеру других, он обмундировался и на первых же порах убедился в справедливости отзыва его нового знакомца по нумерам. В мундире он и сам себя не узнал. Он както невольно взглянул на свои волосы и сказал: «Надо припомадиться». Новые его собратья по науке смотрели так мило и так свежо, так все друг на друга были похожи, что производить диссонанс в этом гармонически сложившемся мирке было совсем немыслимо. Старые лохматые дикари печально доживали свой срок на последних курсах. Пройдет два-три года, и все будет мило, благородно — загляденье!

Прошел месяц, но ни урока, ни переписки не являлось. Чудинов напечатал новое объявление и дней через пять получил приглашение явиться. Он не пошел, а полетел, и успел понравиться. Условились за двадцать пять рублей в месяц, с тем чтобы за эту сумму ходить каждый день и приготовлять двух мальчиков к поступлению в гимназию. Давно он не чувствовал себя так бодро и весело. Но когда он на другой день вечером явился на урок, то ему сказал швейцар, что утром приходил другой студент, взял двадцать рублей и получил предпочтение.

— Что же мне не сказали? я бы... — начал было Чудинов, но понял, что дело его потеряно, и замолк.

С тех пор, несмотря на неоднократно возобновляемые объявления, вопрос об уроке словно в воду канул. Не отыскивалось желающих окунуться в силоамскую купель просвещения — и только. Деньги, привезенные из дому, таяли-таяли и наконец растаяли...

. . . .

На дворе март. Целых шесть месяцев не было ни осени, ни зимы, да и теперь весны нет, а какое-то безвременье. Чудинов по-прежнему живет в нумерах у Анны Ивановны, но он уже исключен из числа студентов, за невзнос полугодовой платы. Старику отцу следовало бы свидетельство о бедности для сына справить, а он, вместо того, охал да ахал. А впрочем, и с свидетельством недалеко уйдешь, ежели при поверке в известных предметах отличнейших познаний не выкажешь. Молодой человек прожил не только привезенные с собой деньги, но и сторублевое пособие, полученное из дома. Безработица продолжает преследовать его, хотя хозяйка и жильцы всячески старались ему помочь в его исканиях. Сунулся он было в комитет вспомоществования, но там ему выдали восемь рублей, а ссуду он попросить не решился, сробел. О стипендии он и не мечтал: что-то еще скажет экзамен при переходе на второй курс, а до тех пор и думать нечего... Хозяйке он давно задолжал, но она не тревожит его, и это с ее стороны представляет тем бо́льшую жертву, что молодой человек серьезно заболел. Он подозрительно кашляет, тяжело дышит и беспрерывно хватается за грудь. Говорят, у него чахотка, да у него и у самого смутно мелькает в голове, что конец недалеко. Хо́дил он раза два к доктору; тот объяснил, что болезнь его — следствие дурного питания, частых простуд, обнадежил, прописал лекарство и сказал, что весной надо уехать. На какие деньги покупать лекарство? Куда ехать?

Учился он страстно, все думал как-нибудь выбраться, переждать суровую нужду. От чая отказался, от обеда — тоже. Платить двадцать копеек за обед оказывалось не под силу. Он брал на десять копеек два пирога в пирожной и этим был сыт. Но выбраться всетаки не удалось. Приходилось расстаться с заветной мечтой, бросить ученье. Для других оно было светочем жизни, для него — погребальным факелом. Всякую надежду на лучшее будущее предстояло оставить, сказать себе раз навсегда, что луч света уже не согреет его существования. И затем отдаться в жертву голодной смерти.

Теперь он даже в пирожную ходить не может; и денег нет, и силы тают с каждым днем. С трудом Анна Ивановна уговорила его не отказываться от скудного обеда в два блюда, обнадежив, что не все еще пропало и что со временем она возвратит свои издержки.

— Мне приходский батюшка обещал беспременно достать для вас урок, — сказала она, — тогда и заплатите. И в университет начнете ходить. Упросим как-нибудь принять взнос.

Тайно от него она известила старого бухгалтера о безнадежном положении молодого человека. Старик собрался с силами и опять выслал двести рублей, но требовал, чтобы сын непременно воротился в родное гнездо.

Семь часов вечера. Чудинов лежит в постели; лицо у него в поту; в теле чувствуется то озноб, то жар; у изголовья его сидит Анна Ивановна и вяжет чулок. В полузабытьи ему представляется то светлый дух с светочем в руках, то злобная парка с смердящим факелом. Это — «ученье», ради которого он оставил родной кров.

Странное дело! припоминается ему: точно такой случай был у нас в городе. Приехали поверять торговлю и зашли к сапожнику, который пропитывался

своим ремеслом один, без учеников. «Есть свидетельство на мещанские промыслы?» — «Нет свидетельства!» Запечатали сапожный инструмент и ушли. Он тоже ушел... в кабак. Точно так же и тут. «Учиться желаю». — «Извольте внести вперед за семестр такую-то сумму». — «Нет у меня такой». — «А нет суммы, и ученья нет». Стало быть, и учиться нельзя, а надо идти... куда? Ни учиться, ни работать; только беспошлинно праздношататься — полная свобода, да и то ежели полиция не заподозрит.

— Жарко мне, вся подушка мокрая! — говорит он слабым голосом.

Анна Ивановна приподнимает ему голову, ощупывает подушку и перевертывает ее, потому что наволочка действительно оказывается мокрой.

— Что вы всё лежите, приободрились бы! — говорит она, — запустите себя, потом и всё в постель да в постель тянуть будет.

— Вас мне совестно; всё вы около меня, а у вас и без того дела по горло, — продолжает он, — вот отец к себе зовет... Я и сам вижу, что нужно ехать, да как быть? Ежели ждать — опять последние деньги уйдут. Поскорее бы... как-нибудь... Главное, от железной дороги полтораста верст на телеге придется трястись. Не выдержишь.

— Выдержите, молодцом приедете. Скоро и тепло настанет. А деньги мы сбережем. Какой расход с моей стороны будет — папенька заплатит.

— Добрая вы!

Чудинова все любят. Доктор от времени до времени навещает его и не берет гонорара; в нумерах поселился студент медицинской академии и тоже следит за ним. Девушка-курсистка сменяет около него Анну Ивановну, когда последней недосужно. Комнату ему отвели уютную, в стороне, поставили туда покойное кресло и стараются поблизости не шуметь.

Но все-таки большую часть времени ему приходится оставаться одному. Он сидит в кресле и чувствует, как жизнь постепенно угасает в нем. Ему постоянно дремлется, голова в поту. Временами он встает с кресла, но дойдет до постели и опять ляжет.

В нем происходит тот двойственный внутренний процесс, который составляет принадлежность чахотки: и полная безнадежность, и в то же время такое страстное желание жить, которое переходит в уверенность исцеления.

— Вот приеду домой, там отгуляюсь, — мечтает он, — лето, воздух, здоровая пища, уход и, наконец, сила молодости...

Но не успевает надежда согреть его существование, как рассудком его всецело овладевает представление о смерти.

— Еще жить не начинал — и вдруг смерть! — терзается он, — за что?

Воспоминания толпою проходили перед ним, но были однообразны и исчерпывались одним словом: «ученье». Припоминались товарищи по гимназии, учителя, родные, но все это заслонялось «ученьем». Лиц почти не существовало; их заменяло отвлеченное понятие, которое, в сущности, даже не давало пищи для ума. Ученье для ученья — вот тема, которая вконец измучила его. Только в последнее время, в Петербурге, он начал понимать, что за ученьем может стоять целый разнообразный мир отношений. Что существует общество, родная страна, дело, подвиг... Что все это неудержимо влечет к себе человека; что знание есть не больше, как подготовка; что экзаменами и переходами из курса в курс не все исчерпывается...

Жизнь представлялась ему в виде необъятного пространства, переполненного непрерывающимся движением. Тут всё: и добро и зло, и праздность и труд, и ненависть и любовь, и пресыщение и горькая нужда, и

самодовольство и слезы, слезы без конца... Вот куда предстояло ему идти, вот где не жаль было растратить молодые силы! В нумерах у Анны Ивановны, в общей столовой, часто велись разговоры на эту тему, и он жадно к ним прислушивался. Даже больной, он кое-как переходил в столовую и чувствовал, как молодые речи и страстные стремления постепенно освещали его существо, зажигали его душу смутными, но уже неодолимыми стремлениями...

И что же! — едва занялась заря осмысленного существования, как за нею уже стоит смерть!

— Тяжело умирать? — спрашивал он Анну Ивановну.

— Что вы всё про смерть да про смерть! — негодовала она,— ежели всё так будете, я и сидеть с вами не стану. Слушайте-ка, что я вам скажу. Я сама два раза умирала; один раз уж совсем было... Да сказала себе: не хочу я умирать — и вот, как видите. Так и вы себе скажите: не хочу умереть!

— Нет, что! мне теперь легко; хотелось бы, однако, признаки знать. Ежели люди вообще тяжело умирают, стало быть, еще я, пожалуй, и продержусь. Но чахоточные, говорят, умирают почти незаметно, так вот это...

Студент-медик тоже разуверял его, говорил, что у него не чахотка, а просто бронхи не в порядке; и это, конечно, может перейти в чахотку, ежели не принять мер.

— Вот пройдет весенняя сумятица — и вам легче будет, — говорил студент, — поедете домой — там совсем другой будете. Только в Петербург уж — шабаш! Ежели хотите учиться, так отправляйтесь в другое место.

— А тяжело умирать? — добивался от него Чудинов.

— Смерть никогда не легка, особливо ежели ей

предшествует продолжительный болезненный процесс. Бывает, что люди годами выносят сущую пытку, и все-таки боятся умереть. Таков уж инстинкт самосохранения в человеке. Вот внезапно, сразу умереть — это, говорят, ничего.

Благодаря этим разуверениям он ободрился и стал светлее смотреть на будущее. Конечно, дверь ученья для него уже закрыта, но он как-нибудь доберется до дома, отдохнет, выправится и непременно выполнит ту задачу, которая в последнее время начала волновать его. Надо идти туда, где сгустился мрак, откуда слышатся стоны, куда до такой степени не проник луч сознательности, что вся жизнь кажется отданною в жертву неосмысленному обычаю, — и не слышно даже о стремлении освободиться от оков его. Там достаточно и тех знаний, которыми он уже обладает, а ежели их окажется мало, то он восполнит этот недостаток любовью, самоотвержением.

Наконец, есть книги. Он будет читать, найдет в чтении материал для дальнейшего развития. Во всяком случае, он даст, что может, и не его вина, ежели судьба и горькие условия жизни заградили ему путь к достижению заветных целей, которые он почти с детства для себя наметил. Главное, быть бодрым и не растрачивать попусту того, чем он уже обладал.

В его воображении рисовалась деревня. В сущности, впрочем, он знал ее очень мало, хотя и провел все детство обок с нею. Главный материал для знакомства с деревенским бытом ему дали собеседования с новыми знакомцами по общей квартире, но в материале этом было слишком много дано места романическому «несчастному» и упускалось из вида конкретное, упорствующее, не поддающееся убеждению. Деревня, которую видело его умственное око, была деревня идеальная, так сказать предрасположенная. Он представлял себе, что нужно только придти, и не задавался

вопросом, как будет принят его приход. Согласны ли будут скованные преданием люди сбросить с себя иго этого предания? Не пустило ли последнее настолько глубокие корни, что для извлечения их, кроме горячего слова, окажутся нужными и другие приемы? в чем состоят эти приемы? Быть может, в отождествлении личной духовной природы пришельца с подавленностью, охватившею духовный мир аборигенов?

В сущности, однако ж, в том положении, в каком он находился, если бы и возникли в уме его эти вопросы, они были бы лишними или, лучше сказать, только измучили бы его, затемнили бы вконец тот луч, который хоть на время осветил и согрел его существование. Все равно, ему ни идти никуда не придется, ни задачи никакой выполнить не предстоит. Перед ним широко раскрыта дверь в темное царство смерти — это единственное ясное разрешение новых стремлений, которые волнуют его.

Наступило тепло; он чаще и чаще говорил об отъезде из Петербурга, и в то же время быстрее и быстрее угасал. Недуг не терзал его, а изнурял. Голова была тяжела и вся в поту. Квартирные жильцы следили за ним с удвоенным вниманием и даже с любопытством. Загадка смерти стояла так близко, что все с минуты на минуту ждали ее разрешения.

Однажды, ночью, когда никого около него не было, он потянулся, чтобы достать стакан воды, стоявший на ночном столике. Но рука его застыла в воздухе...

Схоронили его на Митрофаньевском кладбище. Ни некролога, ни даже простого извещения об его смерти не было. Умер человек, искавший света и обревший — смерть.

АНГЕЛОЧЕК

Верочка так и родилась ангелочком. Когда ее maman[1], Софья Михайловна Братцева, по окончании урочных шести недель, вышла в гостиную, чтобы принимать поздравления гостей, то Верочка сидела у нее на коленях, и она всем ее показывала, говоря:

— Не правда ли, какой ангелочек!

Гости охотно соглашались, и с тех пор за Верочкой утвердилось это прозвище навсегда.

Софья Михайловна без памяти любила своего ангелочка и была очень довольна, что после дочери у нее не было детей. Приращение семейства заставило бы ее или разделить свою нежность, или быть несправедливою к другим детям, так как она дала себе слово всю себя посвятить Верочке. Еще на руках у мамки ангелочка одевали как куколку, а когда отняли ее от груди, то наняли для нее француженку-бонну. От бонны она получила первые основания религии и нравственности. Уж пяти лет, вставая утром и ложась на ночь она лепетала: «Dieu tout-puissant! rendez heureuse ma chère, mère! veuillez qu'un faible enfant, comme moi, reste toujours digne de son affection, en pratiquant la vertu et la propreté»[2].

— Ишь ведь... et la propreté!— удивился однажды Ардальон Семеныч Братцев, случайно подслушав эту странную молитву, — а обо мне, ангелочек, молиться не нужно?

— Papa, — отвечала Верочка, — je sais que vous êtes l'auteur de mes jours, mais c'est surtout ma mère que je chérie[3].

[1] маменька *(франц.)*.

[2] Боже всемогущий! пошли счастье моей милой маме! сделай слабого ребенка, как я, достойным ее привязанности и сохрани его в добродетели и чистоте *(франц.)*.

[3] Папа, я знаю, что вы виновник моих дней, но я больше всего люблю маму *(франц.)*.

— Ну, ладно! вот ужо я тебя за непочтительность наследства лишу!

Супруги Братцевы жили очень дружно. Оба были молоды, красивы, веселы, здоровы и пользовались хорошими средствами. У обоих живы были родители, которые в изобилии снабжали молодых супругов деньгами. И старики и молодые жили в согласии. В особенности Софья Михайловна старалась угодить свекру и свекрови, и называла их не иначе, как papa и maman. Ардальон Семеныч поступал несколько вольнее и называл тестя «скворушкой» («скворушке каши!» — кричал он, завидев в дверях старика), а тещу — скворешницей, из которой улетели скворцы. Сначала это несколько коробило Софью Михайловну, которая не раз упрекала мужа за его шутки.

— Разве я называю твоего папа́ дятлом? — выговаривала она; но вскоре сама как будто убедилась, что иначе отца ее и нельзя назвать, как скворушкой, и всякие пререкания на этот счет сами собой упали.

Доброму согласию супругов много содействовало то, что у Ардальона Семеныча были такие сочные губы, что, бывало, Софья Михайловна прильнет к ним и оторваться не может. Сверх того, у него были упругие ляжки, на которых она любила присесть. Сама она была вся мягкая. Оба любили оставаться наедине, и она вовсе не была в претензии, когда он, взяв ее на руки, носил по комнатам и потом бросал ее на диван.

— Ардашка... дерзкий! — выговаривала она, но таким тоном, что Ардальон Семеныч слышал в ее словах не предостережение, а поощрение.

Первые проблески какого-то недоразумения появились с рождением Верочки. Софья Михайловна вдруг почувствовала, что она чем-то pénétrée[1], что она

[1] одухотворена *(франц.).*

сделалась une sainte[1] и что у нее завелись les sentiments d'une mere[2]. Словом сказать, с языка ее посыпался весь лексикон пусторечия, который представляет к услугам каждого французский язык. Она реже захаживала в кабинет мужа, реже присаживалась к нему на колени и целые дни проводила в совещаниях с охранительницами Верочкиной юности. Какое сделать Верочке платьице? какими обшить кружевами ее кофточки? какие купить башмачки? Супружеская любовь бледнела перед les sentiments d'une mère. Даже встречаясь с мужем за завтраком и обедом, она редко обращала к нему речь и не переставая говорила с гувернанткой (когда Верочке минуло шесть лет, то наняли в дом и англичанку, в качестве гувернантки) и бонной. И все об ангелочке.

— Не правда ли, какая она милая? как отлично усвоивает себе языки? и как вкусно молится? Верочка! ведь ты любишь бога?

— Мы все должны любить бога, — отвечала Верочка рассудительно.

— Да, потому что он добр и может нам дать много, много всего. И ангелов его нужно любить, и святых... ведь ты любишь?

— Oh! maman!

На первых порах у Ардальона Семеныча в глазах темнело от этих разговоров. Он судорожно сучил ногами под столом, находил соус неудачным, вино — отвратительным, сердился, сыпал выговорами. Но наконец смирился. Стал реже и реже появляться к обеду и завтраку, предпочитая пропитываться в ресторанах, где, по крайней мере, говорят только о том, о чем действительно говорить надлежит. Верочку он не то чтобы возненавидел, а сделался к ней совершенно

---

[2] святой *(франц.)*.

[3] материнские чувства *(франц.)*.

равнодушным. Англичанку переносил с трудом, француженку-бонну видеть не мог.

— Черт с вами! — решил он и откровенно объявил жене, что ежели эти порядки будут продолжаться, то он совсем из дома убежит.

Софья Михайловна слегка задумалась, но les sentiments d'une mère превозмогли.

— Как вам угодно, — ответила она холодно, впервые употребляя церемонное «вы», — не могу же я ради вашего каприза оставить единственное сокровище, которое я получила от бога! Скажите, пожалуйста, за что вы возненавидели вашу дочь?

— Не дочь я возненавидел, а ваши дурацкие разговоры.

— Ничего в наших разговорах дурацкого нет!

— Лошадь одуреет, не то что человек, — вот какие это разговоры!

— Нет, ты докажи!

Но Ардальон Семеныч вместо доказательств взял шляпу и, посвистывая, ушел из дома.

Натянутости явной еще не было, но охлаждение уже существовало.

Ангелочек между тем рос. Верочка свободно говорила по-французски и по-английски, но несколько затруднялась с русским языком. К ней, впрочем, ходила русская учительница (дешевенькая), которая познакомила ее с краткой грамматикой, краткой священной историей и первыми правилами арифметики. Но Софья Михайловна чувствовала, что чего-то недостает, и наконец догадалась, что недостает немки.

— Как это я прежде не вздумала! — сетовала она на себя, — ведь со временем ангелочек, конечно, будет путешествовать. В гостиницах, правда, везде говорят по-французски, но на железных дорогах, на улице...

Тут же кстати, к великому своему огорчению, Софья Михайловна сделала очень неприятные открытия. К француженке-бонне ходил мужчина, которого она рекомендовала Братцевой в качестве брата. А так как Софья Михайловна была доброй родственницей, то желала, чтобы и живущие у нее тоже имели хорошие родственные чувства.

— Что же вы не идете к брату? — говорила она бонне, — сегодня воскресенье — идите!

Оказалось, однако ж, что это совсем не брат, а любовник, и — о ужас! — что не раз, с пособием судомойки, он проникал ночью в комнату m-lle Thérèse, рядом с комнатой ангелочка!

Кроме того, около того же времени, у Софьи Михайловны начали пропадать вещи. Сначала мелкие, а потом и покрупнее. Наконец пропал довольно ценный фермуар. Воровкою оказалась англичанка...

— Вот это что называется éducation morale et religieuse![1] — трунил над женой Ардальон Семеныч.

В дом взяли немку, так как немки (кроме гамбургских) исстари пользуются репутацией добродетельных. Француженка и англичанка (тоже вновь приусловленные) должны были приходить лишь в определенные дни и часы.

Немка была молодая и веселая. Сам Ардальон Семеныч с ее водворением повеселел. По-немецки он знал только две фразы: «Leben Sie wohl, essen Sie Kohl»[2] и «Wie haben Sie geworden gewesen»[3], и этими фразами неизменно каждый день встречал появление немки в столовой. Другой это скоро бы надоело, но фрейлейн Якобсон не только не скучала любезностями Братцева, но постоянно встречала их веселым хохотом.

---

[1] нравственное и религиозное воспитание! *(франц.)*

[2] «Будьте здоровы, ешьте капусту» *(нем.)*.

[3] Бессмысленное сочетание глагольных форм.

— Вот твой разговор с немкой так действительно дурацкий! — говорила мужу Софья Михайловна, когда они оставались наедине.

— А ты докажи! — дразнил он ее.

Софья Михайловна, в свою очередь, ничего доказать не могла и только целыми днями дулась. Можно было предвидеть, что немке недолго ужиться у нее, если бы Софья Михайловна не сообразила, что ежели откажет гувернантке, то, чего доброго, Ардальон Семеныч и на стороне ее устроит.

— Теперь она все-таки у меня на глазах, а там... Ведь это такой бессовестный человек, что он и ангелочка не пожалеет... все состояние на немок спустит!

Все это тем больше беспокоило ее, что не к кому было обратиться за советом. И скворец, и скворешница, и дятел, и жена его — все перемерло, так что Ардальон Семеныч остался полным властелином и состояния, и действий своих.

Наконец Верочка достигла двенадцати лет, и надо было серьезно подумать о воспитании ее. Кто знает, что такое les sentiments d'une mère, тот поймет, как тревожилась Софья Михайловна, думая о будущем своего ангелочка. Et ceci, et cela[1]. И науки, и подарок к дням именин и рождения — обо всем надо было подумать. Увы! ей даже помочь никто не хотел, потому что Ардальон Семеныч продолжал выказывать «адское равнодушие» к своему семейству. И приятельницы у нее были какие-то бесчувственные: у каждой свои ангелочки водились, так что начнет она говорить о Верочке, а ее перебивают рассказами о Лидочке, Сонечке, Зиночке и т. д. Но провидение само указало ей путь. В то время самым модным учебным заведением считался пансион благородных девиц m-lle Тюрбо. Все науки проходились у нее в лучшем виде и в

---

[1] И то и се *(франц.)*.

такой полноте, что из курса не исключались даже начатки философии (un tout petit peu, vous savez? — pour faire travailler l'imagination![1]). Учителя были всё отборные: Жасминов, Гелиотропов, Гиацинтов, Резедин, француз Essbouquet, немец Кейнгерух (довольно с немца и этого) и проч. Священник Карминов приходил на урок в муаровой рясе. Нравственностью заведовала сама m-lle Тюрбо и ее помощница, m-lle Эперлан.

Заведение существовало уже с давних пор и всегда славилось тем, что выходившие из него девицы отличались доброю нравственностью, приятными манерами и умели говорить un peu de tout[2]. Они знали, что был некогда персидский царь Кир, которого отец назывался Астиагом; что падение Западной Римской империи произошло вследствие изнеженности нравов; что Петр Пустынник ходил во власянице; что город Лион лежит на реке Роне и славится шелковыми и бархатными изделиями, а город Казань лежит при озере Кабане и славится казанским мылом. Юпитер был большой волокита, а Юнона была за ним очень несчастна и обратила Ио в корову. А Святослав сражался с Цимисхием и сказал: «Не посрамим земли русския!» Это он сказал, а совсем не генерал Прокофьев, как утверждают некоторые историки. Словом сказать, все выходило так, что ни одна воспитанница m-lle Тюрбо не ударила в грязь лицом и не уронила репутации заведения.

Основателем пансиона был m-r Тюрбо, отец нынешней содержательницы. Он был вывезен из Франции, в качестве воспитателя, к сыну одного русского вельможи, и когда воспитание кончилось, то

---

[1] совсем немножко, вы понимаете? — надо заставить работать воображение! *(франц.)*

[2] обо всем понемногу *(франц.)*.

ему назначили хорошую пенсию. M-r Тюрбо уже намеревался уехать обратно в родной Карпантрá, как отец его воспитанника сделал ему неожиданное предложение.

— А что, Тюрбо, — сказал он ему, — если бы вы перешли в православную веру?

— С удовольствием, — ответил Тюрбо.

— А я вам помогу устроиться в Петербурге навсегда...

— С у-до-воль-стви-ем! — с чувством повторил Тюрбо, целуя своего покровителя в плечо.

И не дальше как через месяц все семейство Тюрбо познало свет истинной веры, и сам Тюрбо, при материальной помощи русского вельможи, стоял во главе пансиона для благородных девиц, номинальной директрисой которого значилась его жена.

С этих пор заведение Тюрбо сделалось рассадником нравственности, религии и хороших манер. По смерти родителей его приняла в свое заведование дочь, m-lle Caroline Turbot, и, разумеется, продолжала родительские традиции. Плата за воспитание была очень высока, но зато число воспитанниц ограниченное, и в заведение попадали только несомненно родовитые девочки. Интерната не существовало, потому что m-lle Тюрбо дорожила вечерами и посвящала их друзьям, которых у нее было достаточно.

— Днем я принадлежу обязанностям, которые налагает на меня отечество, — говорила она, разумея под отечеством Россию, — но вечер принадлежит мне и моим друзьям. А впрочем, что ж! ведь и вечером мы говорим всё о них, всё о тех же милых сердцу детях!

Когда Софья Михайловна привезла Верочку в пансион, то m-lle Тюрбо сразу назвала ее ангелочком.

— Ах, какой ангелочек! и какая вы счастливая мать! — воскликнула она, любуясь девочкой, которая действительно была очень миловидна.

— Само провидение привело меня к вам, m-lle Caroline! — отвечала Софья Михайловна комплиментом за комплимент и крепко пожала руку директрисе.

Верочка начала ходить в пансион и училась прилежно. Все, что могли дать ей Жасминов, Гиацинтов и проч., она усвоила очень быстро. Сверх того, научилась танцевать качучу, а манерами решительно превзошла всех своих товарок. Это было нечто до такой степени мягкое, плавное, но в то же время не изъятое и детской непринужденности, что сама Софья Михайловна удивлялась.

— И откуда это у тебя, ангелочек, такие прелестные манеры! — восхищалась она.

— Стараюсь, maman, подражать тем, кого я люблю, — скромно отвечал ангелочек.

— Их вахмистр манерам учит, — совсем некстати вмешивался Ардальон Семеныч.

Но и с ангелочком случались приключения, благодаря которым она становилась в тупик. Однажды Essbouquet задал сочинение на тему: «Que peut dire la couleur bleue?»[1] Верочка пришла домой в большой тревоге.

— Que peut dire la couleur bleue, maman? — спросила она мать за обедом.

— Что такое... la couleur bleue? — удивилась Софья Михайловна.

— Нам француз на эту тему к послезавтраму сочинение задал, — объяснила Верочка.

— Эк вывез! — заметил Ардальон Семеныч.

— Ах, да... понимаю! — догадалась наконец

[1] «О чем может говорить голубой цвет?» *(франц.)*

Софья Михайловна, — о чем бы, однако ж, голубой цвет мог говорить? Ну, небо, например, l'azur des cieux...[1] понимаешь! Голубое небо... Над ним ангелы... les chérubins, les séraphins...[2] все, все голубое!.. Разумеется, это надо распространить, дополнить — тут целая картина! Что бы еще, например?.. Ну, например, невеста... Голубое платье, голубые ботинки, голубая шляпка... вся в голубом! Чистая, невинная... разумеется, и это надо распространить... Что бы еще?..

— Ну, например, голубой жандарм,— подсказал Ардальон Семеныч.

— А что бы ты думал! жандарм! ведь они охранители нашего спокойствия. И этим можно воспользоваться. Ангелочек почивает, а добрый жандарм бодрствует и охраняет ее спокойствие... Ах, спокойствие!.. Это главное в нашей жизни! Если душа у нас спокойна, то и мы сами спокойны. Ежели мы ничего дурного не сделали, то и жандармы за нас спокойны. Вот теперь завелись эти... как их... ну, все равно... Оттого мы и неспокойны... спим, а во сне все-таки тревожимся!

— О! черт побери! — простонал Арнольд Семеныч.

Немка неосторожно хихикнула; Софья Михайловна обвела ее молниеносным взглядом, отодвинула сердито тарелку и весь остаток обеда просидела надутая.

В другой раз Верочка вбежала в квартиру, восторженно крича:

— Мамаша! я оступилась!

— Как оступилась? — встревожилась Софья Михайловна, — садись, покажи ножку!

— Это, maman, нам мосье Жасминов сочинение на тему «Она оступилась» задал.

---

[1] небесная лазурь... *(франц.)*.

[2] херувимы, серафимы *(франц.)*.

— «Ah! c'est trop fort!» [1] — подумала Софья Михайловна и решилась немедленно объясниться с m-lle Тюрбо.

Она знала, что слово «оступиться» употребляется в смысле, довольно не подходящем для детской невинности. «Она оступилась, но потом вышла замуж», или: «она оступилась, и за это родители не позволили ей показываться им на глаза» — вот в каком смысле употребляется это слово в «свете». Неужели ангелочек может когда-нибудь оступиться? Неужели нужно наводить его на подобные мысли, заставлять доискиваться их значения? Вот уж этого-то не ожидала она от m-lle Тюрбо! Она скорее склонна была думать, что старая девственница сама не подозревает значения подобных выражений, и вдруг — прошу покорно!

В это утро у m-lle Тюрбо уж перебывало немало встревоженных матерей по этому же поводу, и потому она встретила Софью Михайловну уже подготовленная.

— Ах, chère madame![2] — объяснила она, — что же в этой теме дурного — решительно не понимаю! Ну, прыгал ваш ангелочек по лестнице... ну, оступился... попортил ножку... разумеется, не сломал — о, сохрани бог! — а только попортил... После этого должен был несколько дней пролежать в постели, манкировать уроки... согласитесь, разве все это не может случиться?

— Да, ежели в этом смысле... но я должна вам сказать, что очень часто это слово употребляется и в другом смысле... Во всяком случае, знаете что? попросите мосье Жасминова — от меня! — не задавать сочинений на темы, которые могут иметь два смысла!

---

[1] «О! это уже слишком!» (*франц.)*

[2] дорогая мадам! (*франц.*)

У меня живет немка, которая может... о, вы не знаете, как я несчастлива в своей семье! Муж мой... ох, если б не ангелочек!..

— Не доканчивайте! Я понимаю вас! Желание ваше будет выполнено! — горячо ответила m-lle Тюрбо, пожимая посетительнице руки.— Pauvre ange délaissé![1]

Наконец (ангелочку уж шел шестнадцатый год), Верочка пожаловалась мамаше, что танцмейстер Тушату хватает ее за коленки. Известие это окончательно взорвало Софью Михайловну. Во-первых, она в первый раз только сообразила, что у ангелочка есть коленки, и, во-вторых — какая дерзость! Неужто какой-нибудь Тушату воображает... mais c'est odieux![2] Когда она была молоденькая и Ardalion, в первый раз, схватил ее за коленки, — о, она отлично помнит этот момент! Она никогда не забудет, как покойница maman («скворешница!» — мелькнуло у нее в голове) бранила ее за это!

— Твои коленки, как вообще все твое, принадлежат будущему! — выговаривала старая скворешница, — и покуда ты не объявлена невестой, ты не должна расточать...

Она сообщила об этом выговоре Ардаше, и он в тот же вечер поспешил сделать предложение. Ну, после этого, конечно... о! это была целая поэма!

Вследствие этого эпизода Софья Михайловна окончательно поссорилась с m-lle Тюрбо и взяла ангелочка из пансиона. Курс еще не кончен, но Верочке через каких-нибудь два месяца шестнадцать лет — надо же когда-нибудь! Она уж достаточно знает и о том, что может говорить голубой цвет, и о том, что может случиться, если девушка оступится, прыгая по

[1] Бедный покинутый ангелочек! *(франц.)*
[2] но это же гнусно! *(франц.)*



лестнице. И вот ее уж начинают за колени хватать — довольно с нее! К тому же зимний сезон кончился, скоро предстояли сборы в деревню; там Верочка будет гулять, купаться, ездить верхом и вообще наберется здоровья, а потом, в октябре, опять наступит зимний сезон. Они возвратятся в Петербург и сделают для ангелочка первый бал.

За обедом только и было разговору, что о будущих выездах и балах. Будут ли носить талию с такими же глубокими вырезами сзади, как в прошлый сезон? Будут ли сзади под юбку подкладывать подставки? Чем будут обшивать низ платья?

— Soignez vos épaules, mon ange[1], — тревожно наставляла дочь Софья Михайловна, — плечи — это в бальном наряде главное.

Увы! Ардальон Семеныч уже не только не возмущался этими разговорами, но внимал им совершенно послушно. В последнее время он весь отдался во власть мадеры, сделался необыкновенно тих и только изредка сквозь зубы цедил:

— Черти!

Все именно так и случилось, как предначертала Софья Михайловна. За лето Верочка окрепла и нагуляла плечи, не слишком наливные, но и не скаредные — как раз в меру. В декабре, перед рождеством, Братцевы дали первый бал. Разумеется, Верочка была на нем царицей, и князь Сампантре́ смотрел на нее из угла и щелкал языком.

— Maman! это был волшебный сон! — восторженно восклицал ангелочек, вставши на другой день очень поздно.— Ты дашь еще другой такой бал?

— Об этом надо еще подумать, ангелочек: такие балы обходятся слишком дорого. Во всяком случае, на следующей неделе будет бал у Щербиновских, потом

---

[1] Береги плечи, ангелочек *(франц.)*.

у Глазотовых, потом в «Собрании», а может быть, и князь Сампантре́ даст бал... для тебя... Кстати, представил его тебе вчера папаша?

— Да, представил... Ах, какой у него смешной нос!

— Не в носу дело, — резонно рассудила мать, — а в том что, кроме носа, у него... впрочем, это ты в свое время узнаешь!

Сезон промчался незаметно. Визиты, театры, балы — ангелочек с утра до вечера только и делал, что раздевался и одевался. И всякий раз, возвращаясь домой усталая, но вся пылающая от волнения, Верочка кидалась на шею к матери и восклицала:

— Мама! мама! это... волшебный сон!

Наконец, уже перед масленицей, князь Сампантре́ дал ожидаемый бал. Он открыл его польским в паре с Софьей Михайловной и первую кадриль танцевал с Верочкой, которая не спускала глаз с его носа, точно хотела выучить его наизусть.

Постом пошли рауты; но Братцевы выезжали не часто, потому что к ним начал ездить князь Сампантре́. Наконец, на святой, он приехал утром, спросил Софью Михайловну и открылся ей. Верочка в это время сидела в своем гнездышке (un vrai nid de colibri[1]), как вдруг maman, вся взволнованная, вбежала к ней.

— Пойдем! он сделал предложение! — сказала она шепотом, точно боясь, чтобы кто-нибудь не услышал и не расстроил счастья ее ангелочка.

Верочка вспомнила про нос и слегка поморщилась. Но потом вспомнила, что у Сампантре́ есть кое-что и кроме носа, — и встала.

— Идем же! — торопила ее мать.

Дело кончилось в двух словах. Решено было спра-

[1] настоящее гнездышко колибри *(франц.)*.

вить свадьбу в имении Сампантре́ в будущем сентябре, в тот самый день, когда ангелочку минет семнадцать лет.

Девическая жизнь ангелочка кончилась. В семнадцать лет она уже успела исчерпать все ее содержание и приготовиться быть доброю женою и доброю матерью.

Теперь она пишет себя на карточках: «княгиня Вера Ардалионовна Сампантре́, рожденная Братцева». Но maman по-прежнему называет ее «ангелочком».

ХРИСТОВА НЕВЕСТА [1]

В начале семидесятых годов Ольга Васильевна Ладогина, девятнадцати лет, вышла из института и прямо переселилась в деревню к отцу. В то время, когда более счастливые товарки разъезжались по Москве, чтобы вступить в свет, в самом разгаре сезона, за Ольгой приехала няня, переодела ее в «собственное» платье и увезла на постоялый двор, где она остановилась. На постоялом дворе отобедали деревенской провизией, подкормили лошадей и сели в возок; дело было в начале зимы. Отцовская усадьба стояла от Москвы с лишком в ста верстах, так что на «своих» они приехали только на третий день к обеду.

Василий Федорыч Ладогин был больной старик. Болезнь была хроническая, неизлечимая, так что он редко вставал с кресла и с трудом бродил по комнатам. В шестьдесят лет и без того плохие радости, а тут еще навязался недуг. Никто к нему не ездил, кроме лекаря, который раз в неделю наезжал из города. Лекарь был

[1] Этим именем на народном языке называются старые девушки, которым не посчастливилось выйти замуж. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

молодой человек, лет двадцати шести, но уже обремененный семейством. Может быть, вследствие этого он был молчалив, смотрел угнетенно и вообще представлял мало ресурсов. Всегда одинокий, больной и угрюмый, Василий Федорыч считал себя оброшенным и не видел иного выхода из этой оброшенности, кроме смерти.

Детей у него было двое: сын Павел, лет двадцати двух, который служил в полку на Кавказе, и дочь, которая оканчивала воспитание в одном из московских институтов. Сын не особенно радовал; он вел разгульную жизнь, имел неоднократно «истории», был переведен из гвардии в армию и не выказывал ни малейшей привязанности к семье. Дочь была отличная и скромная девушка, но отцу становилось жутко, когда он раздумывался о ней. Ей предстояло коротать жизнь в деревне, около него, и только смерть его могла избавить ее от этого серого, безнадежного будущего. Была у него, правда, родная сестра, старая девица, которая скромно жила в Петербурге в небольшом кругу «хороших людей» и тревожилась всевозможными передовыми вопросами. Василий Федорыч думал поселить Ольгу вместе с нею, и Надежда Федоровна охотно соглашалась на это, но Ольга решительно отказалась исполнить желание отца. Ей казалось, что ее место около больного старика, и деревенское заточение не только не пугало ее, но рисовалось в ее воображении в самых заманчивых красках. Большой дом, обширные комнаты, парк с густыми аллеями; летом — воздух пропитан ароматами, парк гремит пением птиц; зимой — деревья задумчиво помавают обнаженными вершинами, деревня утопает в сугробах; во все стороны далеко-далеко видно. И тот и другой пейзаж имеют свою прелесть; первый представляет ликование, жизнь; второй — задумчивое, тихое умирание.

Но, кроме наслаждений, представляемых природой, ей предстоят в деревне и различные обязанности. Она выберет несколько деревенских девочек и будет учить их; она будет посещать бедных крестьян, помогать лечить. Конечно, она совсем не знает медицины, но, с помощью хорошего лечебника и советов уездного лекаря, этот недостаток легко устранить. Сверх того, перед нею раскрывалась широкая область сельскохозяйственной деятельности. Летом — ходить в поля, смотреть, как пашут, жнут; зимою — сводить счеты. Вообще работы предстояло достаточно.

Состояние у Ладогиных было хорошее, так что они могли жить, ни в чем не нуждаясь. С этой стороны будущее детей не пугало Василия Федорыча. Его пугало, что сын вышел неудачный, а дочь останется одинокою. Он с горечью думал о тех счастливых семьях, где много родных и родственные связи упрочились крепко. По крайней мере, для молодых людей есть верный приют, особливо ежели не существует значительной разницы в материальных средствах. Горько являться в качестве бедной родственницы; но, не имея нужды в куске, всегда можно надеяться на радушный прием. Вот если бы Ольга вышла замуж — это было бы отличным исходом и для нее и для брата. И брат мог бы приютиться в семье сестры и сделаться там человеком. Но на замужество Ольги надежда была плохая, особливо с тех пор, как она отказалась поселиться у Надежды Федоровны. Кто ее увидит в деревенской глуши? Кому она здесь нужна, кроме безнадежно больного старика отца?

Сверх того, старик не скрывал от себя, что Ольга была некрасива (ее и в институте звали дурнушкой), а это тоже имеет влияние на судьбу девушки. Лицо у нее было широкое, расплывчатое, корпус сутулый, приземистый. Не могла она нравиться. Разве тот бы ее полюбил, кто оценил бы ее сердце и ум. Но такие цени-

тели вообще представляют исключение, и уж, разумеется, не в деревне можно было надеяться встретить их.

Едва приехала Ольга Васильевна в деревню, как сразу же погрузилась в беспробудную тишину. Старик отец почти не покидал кресла и угрюмо молчал; в комнатах было пусто и безмолвно. Стук часового маятника, скрип собственных шагов — все с такою гулкостью раздавалось в комнатах, что, по временам, она даже пугалась. Пейзаж, открывавшийся перед окнами, был необыкновенно уныл. Деревья в парке грузно опустили отягченные инеем ветви и едва шевелили ими; речка застыла; изредка вдали показывался проезжий, и тот словно нырял в сугробах, то показываясь на дороге, то исчезая. Белая церковь выступила вперед своей колокольней, точно сбираясь сойти с пригорка и что-то возвестить. Вправо от нее, сквозь обнаженный фруктовый сад, чернел сельский поселок, но издали казалось, что и он словно замер. Прислуга, пользуясь нездоровьем барина, редко показывалась в доме, за исключением старого камердинера, который постоянно дремал в передней. Только на мельнице, в некотором расстоянии от усадьбы, замечалось движение; но туда Ольга идти не решалась: она еще боялась сразу вступать на арену хозяйственной деятельности.

Вечером зажигались огни по всей анфиладе комнат, где проводил свой день старый барин. Старик любил освещенные комнаты; они одни напоминали ему о жизни. Ольга садилась около него и читала; но старик даже от чтения, во время долгой болезни, отвык. Тогда она пересаживалась с книгой к столу и читала про себя, покуда отца не уводили спать. Книг в доме оказалось много, и почти все в них было для нее ново. Это до известной степени наполняло ту вынужденную праздность, на которую она была обречена. Она все чего-то ждала, все думала: вот пройдет месяц,

другой, и она войдет в настоящую колею, устроится в новом гнезде так, как мечтала о том, покидая Москву, будет ходить в деревню, наберет учениц и проч. Тогда и деревенская тишь перестанет давить ее своим гнетущим однообразием.

В ожидании минуты, когда настанет деятельность, она читала, бродила по комнатам и думала. Поэтическая сторона деревенской обстановки скоро исчерпалась; гудение внезапно разыгравшейся метели уже не производило впечатления; бесконечная белая равнина, с крутящимися по местам, словно дым, столбами снега, прискучила; тишина не успокоивала, а наполняла сердце тоской Сердце беспокойно билось, голова наполнялась мечтаниями.

Она старалась гнать их от себя, заменять более реальною пищею — воспоминаниями прошлого; но последние были так малосодержательны и притом носили такой ребяческий характер, что останавливаться на них подолгу не представлялось никакого резона. У нее существовал, впрочем, в запасе один ресурс — долг самоотвержения относительно отца, и она охотно отдалась бы ему; но старик думал, что стесняет ее собою, и предпочитал услугу старого камердинера.

— Ужели все так живут? — повторяла она, вперяя взор в бесконечную даль.

Нет, есть другие, которые живут по-иному. Даже у нее под боком шла жизнь, положим, своеобразная и грубая, но все-таки жизнь.

По временам раздавалось то в той, то в другой передней хлопанье дверьми — это означало, что кто-нибудь из прислуги пришел и опять уходит. В этот дом приходили только на минуту и сейчас же спешили из него уйти, точно он был выморочный. Даже старуха нянька — и та постоянно сидела в людской. Там было весело, оживленно; там слышался человеческий голос,

человеческий смех; там о чем-то думалось, говорилось. Она одна ничего не слышала, кроме тиканья раскачивающегося маятника, скрипа собственных шагов да каких-то таинственных шепотов, которые по временам врывались в общее безмолвие с такою ясностью, что ей становилось жутко. Хотя бы птицу или собаку ей кто-нибудь подарил — все было бы веселее. Нет, одна, всегда одна. Какую такую поэзию она себе воображала, когда сюда ехала?

Периодический приезд лекаря несколько оживлял ее. Несмотря на угнетенный вид, молчаливость, все же это был человек. Сам он, положим, вопросов не делал, но на посторонние вопросы отвечал. К тому же наружность его была довольно симпатичная: бледное лицо, задумчивые большие глаза, большой лоб, густые черные волосы. Очень возможно, что печать угнетенности легла на него неспроста. Слухи носились, что он женился очень несчастливо, на вдове, которая была гораздо старше его и которая содержала меблированные комнаты, где он жил. Там он с нею и познакомился. Но насколько в этой истории было правды — она не знала, и только видела, что в жизни доктора было что-то загадочное. Случалось ей по временам и разговориться с ним, но разговоры были короткие.

— Вы женаты? — однажды спросила она его во время обеда.

— Женат, — ответил он односложно.

— И семейство есть?

— Четверо детей.

— Скажите, веселятся в городе? бывают собрания, вечера?

— Не знаю; я очень мало имею знакомств и никуда не езжу.

— Что так?

— Жизнь так сложилась. Скучная жизнь.

Она инстинктивно подумала: «Какой молодой и уже связал себя!» — но тут же спохватилась: с чего ей вздумалось жалеть, что он «связан», и краска разлилась по ее лицу.

— Да, нельзя сказать, чтобы весело было жить, — сказала она.

— Скучно, скучно, скучно! — три раза повторил он, — и, главное, бесполезно.

— Не слишком ли резко вы выразились?

— Нет; вы сами на себе это чувство испытываете, а ежели еще не испытываете, то скоро, поверьте мне, оно наполнит все ваше существо. Зачем? почему? — вот единственные вопросы, которые представляются уму. Всю жизнь нести иго зависимости, с утра до вечера ходить около крох, слышать разговор о крохах, сознавать себя подавленным мыслью о крохах...

— Но ведь я о крохах не думаю, а мне тоже скучно.

— Нет, и ваша жизнь переполнена крохами, только вы иначе их называете. Что вы теперь делаете? что предстоит вам в будущем? Наверно, вы мечтаете о деятельности, о возможности быть полезною; но разберите сущность ваших мечтаний, и вы найдете, что там ничего, кроме крох, нет.

— Я еще не приступила ни к чему, а вы уже заранее пугаете меня.

— Извините. Я вообще и неумел и необщителен. Так сказалось, спроста.

Оба замолчали, чувствуя, что дальнейшее развитие подобного разговора между людьми, которые едва знали друг друга, может представить некоторые неудобства. Но когда он после обеда собрался в город, она опять подумала: «Вот если б он не был связан!» — и опять покраснела.

В этот же вечер старик отец, точно чувствуя, что сердце Ольги тревожно, подозвал ее к себе и, взявши за подбородок, долго всматривался ей в глаза.

— Бедная моя! — не то сказал, не то вздохнул он.

— Что так? — спросила она, чуть не плача.

— Бедная! — повторил он, беспомощно опуская голову на грудь, и махнул рукою, чтобы она ушла.

Всю ночь она волновалась. Что-то новое, хотя и неясное, проснулось в ней. Разговор с доктором был загадочный, сожаления отца заключали в себе еще менее ясности, а между тем они точно разбудили ее от сна. В самом деле, что такое жизнь? что значат эти «крохи», о которых говорил доктор?

Ей вспомнилась старая девушка — тетка. Надежда Федоровна не жаловалась собственно на жизнь, а только на известные затруднения, которые тормозили ее деятельность. Но затруднения не исключали представления о жизни; напротив того, борьба с ними оживляла и придавала бодрости. Так, по крайней мере, явствовало из писем тетки, которая всегда оговаривалась, что занята по горло и оттого пишет редко. Зачем она не послушалась отца и не поселилась вместе с теткой? Быть может, теперь у нее нашлось бы уж дело; быть может, она вместе с Надеждой Федоровной волновалась бы настоящею, реальною деятельностью, а не тою вынужденною праздностью, которая наполняла все ее существо тоскою? И усиленная деятельность тетки не представляла ничего другого, кроме «крох», как выразился недавно доктор...

На другой день, утром, она спросила няньку:

— Есть у нас в селе бедные?

— Как бедным не быть.

— И плохо они живут?

— Уж какое бедному человеку житье! Колотятся.

— Что они, например, едят?

— Тюрю, щи пустые. У кого корова есть, так молока для забелки кладут.

— И больные в деревне есть?

— И больных довольно. Плотник Мирон уж два года животом валяется. Взвалил себе в ту пору на плечо бревно, и вдруг у него в нутре оборвалось.

— Неужто и он тоже тюрей питается?

— А то чем же! Чем прочие, тем и он. Хлеб-то задаром не достается. Он и с печки сойти не может — какой он добытчик?

— Доктор у него не был?

— Про нас, сударыня, докторов не припасено, — чуть не с гневом ответила няня.

— Я, няня, пойду к Мирону, — решила Ольга.

— А зачем, позвольте узнать? «Бог милости прислал»? Так это он и без вас давно знает.

— Нет, я спрошу, не нужно ли что.

— Полноте-ка! посмотрите, на дворе мгла какая! Пойдете в своем разлетайчике, простудитесь еще. Сидите-ка лучше дома — на что еще глядеть собрались?

— Нет, я пойду.

И пошла.

Приходу ее в избе удивились. Но она вошла довольно смело и спросила Мирона. В избе было душно и невыносимо смрадно. Ей указали на печку. Когда она взошла по приступкам наверх, перед ней очутился человеческий остов, из груди которого вылетали стоны.

— Вы больны? — спросила она, не сознавая бесполезности своего вопроса.

Он широко раскрыл глаза и безмолвствовал.

— Третий год пластом лежит, — ответила за него жена, — сначала и день и ночь криком кричал, хоть из избы вон беги, а теперь потише сделался.

— Может быть, ему легче сделалось?

— Не должно бы быть — с чего? Нет, у него, стало быть, силы уж нет кричать.

— Чем же вы его кормите?

— Что сами едим, то и ему даем. Да он и не ест совсем.

— Хотите, я вам бульону для него пришлю? мяса?

— С убоины у него, пожалуй, с души сопрет. Вот супцу... Мирон, а Мирон! барышня с усадьбы пришла, спрашивает, супцу не хочешь ли?

— Не... нужно...

— Нет, я все-таки пришлю. Может быть, и получше ему будет. И с доктором о нем поговорю. Посмотрит, что-нибудь присоветует, скажет, какая у него болезнь.

Визит кончился. Когда она возвращалась домой, ей было несколько стыдно. С чем она шла?.. с «супцем»! Да и «супец» ее был принят как-то сомнительно. Ни одного дельного вопроса она сделать не сумела, никакой помощи предложить. Между тем сердце ее болело, потому что она увидела настоящее страдание, настоящее горе, настоящую нужду, а не тоску по праздности. Тем не менее она сейчас же распорядилась, чтобы Мирону послали миску с бульоном, вареной говядины и белого хлеба.

— Это еще что за выдумки? — удивилась няня.

— Пожалуйста, няня! прошу!

— Стыдитесь, сударыня! у нас у самих говядины в обрез. В город за нею гоняем. А белый хлеб только для господ бережем.

— Исполните приказание Ольги Васильевны! — раздался голос старика Ладогина, до которого через две комнаты донесся этот разговор.

Приказание было исполнено. На другой день Ольга Васильевна повторила свою просьбу, но она уже видела, что ей придется напоминать об одном и том же каждый день и что добровольно никто о Мироне не подумает. Когда приехал доктор, она пошла к больному вместе с ним; но доктор, осмотрев пациента, объявил, что он безнадежен, и таких средств, которые

могли бы восстановить здоровье Мирона, у него, доктора, в распоряжении не имеется. Он назвал болезнь по имени, но Ольга не поняла. За всем тем она продолжала напоминать о «супце», но скоро убедилась, что распоряжения ее просто не исполняются. Тогда она умолкла.

Недели через две она обратилась к няньке с новым вопросом:

— Нет ли на селе девочек, которые пожелали бы учиться? Немного: четыре-пять девочек...

— Учить хотите?

— Да.

— Это чтоб они везде следов наследили, нахаркали, все комнаты овчинами насмердили?

— Ах, няня, как это у вас сердце такое черствое!

— Придут в вашу комнату, насорят, нагадят, а я за ними подметай! — продолжала ворчать нянька.

— Другие подметут; наконец, я сама... Пожалуйста! Я знаю, папаше будет приятно, что я хоть чем-нибудь занята.

На этот раз нянька не противоречила, потому что побоялась вмешательства Василия Федоровича. Дня через два пришли три девочки, пугливо остановились в дверях классной комнаты, оглядели ее кругом и наконец уставились глазами в Ольгу. С мороза носы у них были влажны, и одна из пришедших, точно исполняя предсказание няньки, тотчас же высморкалась на пол.

— Подойдите, не бойтесь! — поощряла их Ольга Васильевна.

Началось каждодневное ученье, и так как Ольга действительно сгорала желанием принести пользу, то дело пошло довольно бойко.

Через короткое время Ольга Васильевна, однако ж, заметила, что матушка-попадья имеет на нее какое-то неудовольствие. Оказалось, что так как женской

школы на селе не было, то матушка, за крохотное вознаграждение, набирала учениц и учила их у себя на дому. Затея «барышни», разумеется, представляла для нее очень опасную конкуренцию.

— Она семью своим трудом кормит,— говорила по этому случаю нянька,— а вы у нее хлеб отнимаете.

Приходилось по-прежнему бесцельно бродить по комнатам, прислушиваться к бою маятника и скучать, скучать без конца. Изредка она каталась в санях, и это немного оживляло ее; но дорога была так изрыта ухабами, что беспрерывное нырянье в значительной степени отравляло прогулку. Впрочем, она настолько уж опустилась, что ее и не тянуло из дому. Все равно, везде одно и то же, и везде она одна.

Во время рождественских праздников приезжал к отцу один из мировых судей. Он говорил, что в городе веселятся, что квартирующий там батальон доставляет жителям различные удовольствия, что по зимам нанимается зал для собраний и бывают танцевальные вечера. Потом зашел разговор о каких-то пререканиях земства с исправником, о том, что земские недоимки совсем не взыскиваются, что даже жалованье членам управы и мировым судьям платить не из чего.

— Слухи ходят, что скоро и совсем земства похерят,— прибавил он,— да и хорошо сделают. Об умывальниках для больницы да о пароме через речку Воплю и без земства есть кому думать. Вот кабы...

Но Василий Федорович не дал ему докончить и, смеясь, сказал:

— Успокойтесь: ваше жалованье при вас останется. Даже вернее будет уплачиваться, потому что недоимки настоящим образом станут взыскивать.

В заключение судья приглашал Ольгу развлечься и предлагал познакомить ее с своею женой. Действительно, она однажды собралась в город, и жена судьи

приняла ее очень дружелюбно. Вместе они поехали в собрание, но там было так людно и шумно, что у Ольги почти в самом начале вечера разболелась голова. Притом же почти все время она просидела одна, потому что, под предлогом незнакомства, ее ангажировали очень редко, тогда как жена судьи была царицей бала и не пропускала ни одного танца. Она искала глазами доктора, но его в зале не было. Взамен ей указали на сухопарую, высокую даму, которая тоже сидела совсем одиноко, и сказали: «Вот наша докторша!»

Через несколько времени сухопарая дама подошла к ней и очень нахально объявила:

— А мой доктор от вас без ума. Только и слов, что Ольга Васильевна да Ольга Васильевна.

— Я всего один раз с ним говорила, — невпопад ответила Ольга, краснея.

— Это зависит от того, как говорить! Иногда и один раз люди поговорят, да так сговорятся, что любо-дорого смотреть!

Ольга встала и пересела на другое место.

— Приедет он теперь к вам... дожидайтесь! — прошипела ей вслед докторша.

После этого эпизода голова у нее разболелась сильнее, и ей сделалось невыносимо скучно среди этой суматохи, называвшей себя весельем.

«Должно быть, и для того, чтобы веселиться, надо привычку иметь»,— думалось ей, когда она возвращалась на постоялый двор, чтобы переодеться и возвратиться домой.

— Ну, вот, слава богу, и повеселились! — встретила ее нянька.

Тем не менее доктор продолжал навещать старика: это была единственная практика во всем уезде, которая представляла какое-нибудь подспорье, так что даже сварливая докторша не решилась настаивать на утрате такого пациента. Но Ольга уже не вступала с

доктором в разговор, а он и подавно молчал. Обмениваясь короткими фразами, обедали они вдвоем в урочное время, затем пожимали друг другу руки, и он уезжал. День ото дня перспектива одиночества и какой-то безвыходной тусклости все неизбежнее и неизбежнее обрисовывалась перед ней.

Наконец наступил март, и грудь ее вздохнула свободнее. Стужа еще не прекратилась, но в середине дня солнце уже грело и в воздухе чуялся поворот к весне. Вот и грачи прилетели и наполнили соседнюю рощу шумным карканьем; вот на дорожке, ведущей в парк, в густом снежном слое, ее покрывавшем, показались дырочки; на пруд прибегали деревенские мальчики и проваливались в рыхлом снегу. К концу марта и в комнатах стало веселее, светлее. Лучи солнца играли на полу, отражались в зеркалах; на стенах, неизвестно откуда, появлялись «зайчики». Ольга с удовольствием следила за игрою лучей и чувствовала себя менее угнетенной. Наконец пришел управляющий и объявил, что надо запастись провизией, потому что скоро появятся на дорогах зажоры и в город нельзя будет проехать. В первых числах апреля на речке тронулся лед, и все видимое пространство, и поля, и луга, покрылось водою.

Но в то же время и погода изменилась. На небе с утра до вечера ходили грузные облака; начинавшееся тепло, как бы по мановению волшебства, исчезло; почти ежедневно шел мокрый снег, о котором говорили: молодой снег за старым пришел. Но и эта перемена не огорчила Ольгу, а, напротив, заняла ее. Все-таки дело идет к возрождению; тем или другим процессом, а природа берет свое.

На последней неделе поста Ольга говела. Она всегда горячо и страстно веровала, но на этот раз сердце ее переполнилось. На исповеди и на причастии она не могла сдержать слез. Но облегчили ли ее эти слезы,

или, напротив, наполнили ее сердце тоскою, — этого она и сама не могла различить. Иногда ей казалось, что она утешена, но через минуту слезы опять закипали в глазах, неудержимой струей текли по щекам, и она бессознательно повторяла слова отца: «Бедная! бедная! бедная!»

В утреню светлого праздника с ней повторилось то же явление, но она, насколько могла, сдержала себя. Воротившись от ранней обедни домой, она похристосовалась с отцом, который, по случаю праздника, надел белый кашемировый халат и, весь в белом, был скорее похож на мертвеца, закутанного в саван, нежели на живого человека. Потом перецеловалась со всею прислугой, разговелась, выслушала славление сельского священника и, усталая, легла отдохнуть. Но сдавленные слезы сами собой полились; сердце заныло, в груди шевельнулись рыдания. «Бедная! бедная! бедная!» — раздавалось у нее в ушах, стучало в голове, разливалось волной по всему телу...

. . . .

В мае Ольга Васильевна начала ходить в поле, где шла пахота и начался посев ярового. Работа заинтересовала ее; она присматривалась, как управляющий распоряжался, ходил по пашне, тыкал палкою в вывороченные сохой комья земли, делал работникам выговоры и проч.; ей хотелось и самой что-нибудь узнать, чему-нибудь научиться. На вопросы ее управляющий отвечал как мог, но при этом лицо его выражало такое недоумение, как будто он хотел сказать: ты-то каким образом сюда попала?

Зато в парке было весело; березы покрылись молодыми бледно-зелеными листьями и семенными сережками; почки липы надувались и трескались; около клумб возился садовник с рабочими; взрыхляли землю, сажали цветы. Некоторые птицы уж вывели птенчиков; гнезда самых мелких пернатых, по большей части,

были свиты в дуплах дерев, и иногда так низко, что Ольга могла заглядывать в них. По вечерам весь воздух был напоен душистым паром распустившейся березовой листвы.

В июне к Ладогиным явился с визитом сосед, Николай Михайлыч Семигоров, молодой человек лет тридцати. Старик Ладогин в былое время был очень близок с покойным отцом Семигорова и принял сына очень радушно. Молодой человек постоянно жил в Петербурге, занимал довольно видное место в служебной иерархии и только изредка и на короткое время навещал деревню, отстоявшую в четырех верстах от усадьбы Ладогина. Средства он имел хорошие, не торопился связывать себя узами, был настолько сведущ и образован, чтобы вести солидную беседу на все вкусы, и в обществе на него смотрели как на приличного и приятного человека. В семействе Ладогиных он вел себя очень предупредительно. С первого же раза повел с Ольгой оживленный разговор, сообщил несколько пикантных подробностей из петербургской жизни, коснулся «вопросов», и, разумеется, по преимуществу тех, которым была посвящена деятельность тетки — Надежды Федоровны. Но при этом объявил, что настоящее время для вопросов очень трудное и что Надежда Федоровна хотя не опускает рук, но очень страдает.

— Всего больше угнетает то, — сказал он, — что надо действовать как будто исподтишка. Казаться веселым, когда чувствуешь в сердце горечь, заискивать у таких личностей, с которыми не хотелось бы даже встречаться, доказывать то, что само по себе ясно как день, следить, как бы не оборвалась внезапно тонкая нитка, на которой чуть держится дело преуспеяния, отстаивать каждый отдельный случай, пугаться и затем просить, просить и просить... согласитесь, что это нелегко!

И когда Ольга отвечала на его слова соболезнованиями — ничего другого и в запасе у нее не было, — то он, поощренный ее вниманием, продолжал:

— Вообще мы, люди добрых намерений, должны держать себя осторожно, чтобы не погубить дела преуспеяния и свободы. Мы обязаны помнить, что каждый переполох прежде всего и больше всего отражается на нас. Поэтому самое лучшее — не дразнить и стараться показывать, что наши мысли совпадают с мыслями влиятельных лиц. Разумеется, не затем, чтобы подчиняться этим лицам, а, напротив, чтобы они, незаметно для самих себя, подчинились нашим воззрениям. Влиятельное лицо всегда не прочь полиберальничать, — к счастию, это вошло уже в привычку, — лишь бы либеральная мысль являлась не в чересчур резкой форме и смягчалась внешними признаками уступок и соглашений. Ежели этот маневр удастся, то дело преуспеяния спасено. И что всего важнее: влиятельное лицо будет убеждено, что инициатива этого спасения идет всецело от него. А при таком убеждении и будущее его содействие может считаться обеспеченным.

— Да, но ведь это игра опасная, — заметила Ольга.

— Коли хотите, она не столько опасна, сколько не вполне нравственна и в высшей мере надоедлива. Совестно лукавить и невыносимо скучно выслушивать пустяки, серьезно изрекаемые в качестве истин. Требователен нынешний влиятельный человек и даже назойлив. Ни одной уступки вы от него не дождетесь иначе, как ценою целого потока пустопорожних речей. Но что же делать?

— Мне кажется, я бы побоялась. Ведь, слушая постоянно одни и те же, как вы их называете, пустопорожние речи, можно и самому незаметно подчиниться им. Вот я, например, приезжая сюда, тоже мечтала о

какой-то деятельности, чем-то вроде светлого луча себя представляла, а в конце концов подчинилась-таки. Я скажу одно слово, а мне — двадцать в ответ. Слова не особенно резонные, но их много, и притом они часто повторяются, все одни и те же. Ну, и подчинилась, или, говоря другими словами, махнула рукой и живу сама по себе.

— И дурно сделали. Вам и подчиняться не нужно, а следует только приказать.

— Да, прикажите! как вы прикажете, когда вам говорят: «теперь недосужно», или: «вот ужо, как уберемся!» и в заключение: «ах, я и забыла!»? Ведь и «недосужно», и «ужо», и «забыла» — все это в порядке вещей, все возможно.

— Пожалуй, что и так. В нашем деле, конечно, есть своего рода опасности, но нельзя же не рисковать. Если из десяти опасностей преодолеть половину, — а на это все-таки можно рассчитывать, — то и тут уж есть выигрыш.

Словом сказать, Ольга провела время приятно и, во всяком случае, сознавала, что в этой беспробудной тиши в первый раз раздалось живое человеческое слово. С своей стороны, и он дал понять, что знакомство с Ольгой Васильевной представляет для него неожиданный и приятный ресурс, и в заключение даже обещал «надоедать».

— Я буду ездить к вам часто, — говорил он, прощаясь, — ежели надоем, то скажите прямо. Но надеюсь, что до этого не дойдет.

— То есть вы поступите со мной, как с тем влиятельным лицом, о котором упоминали: будете подчинять меня себе, приводить на путь истинный! — пошутила Ольга.

— Пожалуй, — ответил он весело, — только на этот раз вполне добровольно и сознательно. А может быть, и вы подчините меня себе.

Семигоров уехал, и Ольга почувствовала с первого же шага, что ей скучно без него. Теория его казалась ей несколько странною, но ведь она так мало жила между людьми, так мало знает, что, может быть, ошибается она, а не он. Во всяком случае, разговор его заинтересовал ее, пробудил в ней охоту к серьезному мышлению. На этот раз, однако ж, мысли ее находились в каком-то хаосе, в котором мешалось и положительное и отрицательное, сменяя одно другое без всякой винословности. В этом хаосе она путалась до самой минуты, когда, уж довольно поздно, ее позвали к отцу.

Отец собирался спать. Он перекрестил дочь, посмотрел ей пристально в глаза, точно у него опять мелькнуло в голове: бедная! Но на этот раз воздержался и сказал только:

— Ну, Христос с тобой!

Семигоров сдержал слово и посещал Ладогиных ежели не каждый день, то очень часто. Молодые люди сблизились. Николай Михайлыч разъяснил Ольге значение реформ последнего времени, подробно рассказал историю и современное положение высшего женского образования и мало-помалу действительно подчинил ее себе. По временам они вступали на почву высших общечеловеческих интересов, спорили о различных утопиях, которые излагал Семигоров, и, к удивлению, Ольга на этой почве опозналась гораздо быстрее и даже почувствовала себя тверже своего учителя. Во всяком случае, она почувствовала, что в существо ее хлынула жизнь.

Она слушала, волновалась, мыслила, мечтала... Но в эти одинокие мечтания неизменно проникал образ Семигорова, как светлый луч, который пробудил ее от сна, осветил ее душу неведомыми радостями. Наконец сердце не выдержало — и увлеклось.

Она даже забыла о своей непривлекательной внеш-

ности и безотчетно, бездумно пошла навстречу охватившему ее чувству.

Заметил ли Семигоров зарождавшуюся страсть — она не отдавала себе в этом отчета. Во всяком случае, он относился к ней сочувственно и дружески тепло. Он крепко сжимал ее руки при свидании и расставании и по временам даже с нежным участием глядел ей в глаза. Отчего было не предположить, что и в его сердце запала искра того самого чувства, которое переполняло ее?

Однажды, — это было перед самым отъездом Семигорова в Петербург, — они сидели в парке и особенно дружески разговорились. Речь шла о положении женщины в русском обществе. Сначала она приводила примеры из крестьянской жизни, но наконец не выдержала и указала на свою собственную судьбу. С горечью, почти с испугом жаловалась она на одиночество, вынужденную праздность, на неудавшуюся, погибшую жизнь. Каким образом эта жизнь так сложилась, что кругом ничего, кроме мрака, нет? неужели у судьбы есть жребии, которые она раздает по произволу, с завязанными глазами? И для чего эти жребии? Для чего одних одарять, других отметать? для чего нужна, каким целям может удовлетворять эта бессмысленная игра? Хоть бы в будущем был просвет — можно было терпеть и ждать. А в ее жизни царствует полная бессрочность. Она так же томится, как и прикованный к креслу больной отец, который, вставая утром, ждет, скоро ли придет ночь, а ложась спать, ворочается на постели и ждет, скоро ли наступит утро. Так ведь у него уж и сил для жизни нет, он естественным процессам подчинился, тогда как она здорова, сильна, а ее преследует та же нравственная немочь, та же заброшенность.

— Вот наш доктор говорит,— сказала она грустно,— что все мы около крох ходим. Нет, не

все. У меня даже крох нет; я и крохе была бы рада.

— Бедная вы! — вымолвил он, взяв ее за руку.

— Да, бедная! — повторила она, — и отец много раз говорил мне: бедная! бедная! Но представьте себе, старуха нянька однажды услышала это и сказала: «Какая же вы бедная! вы — барышня!»

— Бедная! бедная вы моя!

Жалость ли, или другое, более теплое чувство овладело его сердцем, но с ним совершилось внезапное превращение. Он почувствовал потребность любить и ласкать это бедное, оброшенное существо. Кровь не кипела в его жилах, глаза не туманились страстью, но он чувствовал себя как бы умиротворенным, достигшим заветной цели, и в этот миг совершенно искренно желал, чтобы этот сердечный мир, это душевное равновесие остались при нем навсегда. Инстинктивно он обнял ее рукой за талию, инстинктивно привлек к себе и поцеловал.

Из глаз ее брызнули слезы.

— Зачем ты плачешь? — шептал он, незаметно увлекаясь, — теперь уж ты не бедная! ты — моя!

— Я любима? — спросила она, все еще сомневаясь.

— Да, ты любима, ты — моя! — ответил он горячо.

Целый час они провели в взаимных признаниях и в задушевной беседе о предстоящих радостях жизни. Сомнения мало-помалу совсем оставили ее; но он, по мере того как разговор развивался, начинал чувствовать какую-то неловкость, в которой, однако ж, боялся признаться себе. Но все-таки он заметил эту неловкость и, чтобы оправдать себя, приписал ее недостатку страстности, которая лежала в самой природе его. Но зато он честен и, конечно, не изменит однажды вызванному чувству любви, хоть бы это чувство и неожиданно подстерегло его.



Наконец он стал сбираться домой.

— Завтра утром я приеду и перетолкую с твоим отцом, — говорил он, — а вечером — в Петербург. Через месяц возвращусь сюда, и мы будем неразлучны.

Она держала его за руку и не пускала от себя.

— Пойдем к отцу... теперь! — сказала она,— мне хочется показать тебя ему!

— Ну, он и без того знает...

— Нет, он не знает... *тебя, такого, как ты теперь...* не знает! Пойдем.

— Твой отец — человек старозаветный, — уклонился он, — а старозаветные люди и обычаев старозаветных держатся. Нет, оставим до завтра. Приеду, сделаю формальное предложение, а вечером — в Петербург.

Она должна была согласиться, и он уехал. Долго глядела она вслед пролетке, которая увозила его, и всякий раз, как он оборачивался, махала ему платком. Наконец облако пыли скрыло и экипаж и седока. Тогда она пошла к отцу, встала на колени у его ног и заплакала.

— Я счастлива, папа! — слышалось сквозь рыданья, теснившие ей грудь.

Отец взглянул на нее и понял. «Бедная!» — шевельнулось у него в голове, но он подавил жестокое слово и сказал:

— Ну, Христос с тобой! желаю...

Вечером ей стало невыносимо скучно в ожидании завтрашнего дня. Она одиноко сидела в той самой аллее, где произошло признание, и вдруг ей пришло на мысль пойти к Семигорову. Она дошла до самой его усадьбы, но войти не решилась, а только заглянула в окно. Он некоторое время ходил в волнении по комнате, но потом сел к письменному столу и начал писать. Ей сделалось совестно своей нескромности, и она убежала.

На другой день утром, только что она встала, ей подали письмо.

«Простите меня, милая Ольга Васильевна, — писал Семигоров, — я не соразмерил силы охватившего меня чувства с теми последствиями, которые оно должно повлечь за собою. Обдумав происшедшее вчера, я пришел к убеждению, что у меня чересчур холодная и черствая натура для тихих радостей семейной жизни. В ту минуту, когда вы получите это письмо, я уже буду на дороге в Петербург. Простите меня. Надеюсь, что вы и сами не пожалеете обо мне. Не правда ли? Скажите: да, не пожалею. Это меня облегчит».

Она не проронила ни слова жалобы, но побелела как полотно. Затем положила письмо в конверт и спрятала его в шкатулку, где лежали вещи, почему-либо напоминавшие ей сравнительно хорошие минуты жизни. В числе этих минут та, о которой говорилось в этом письме, все-таки была лучшая.

Отец, по-видимому, уже знал, что от Семигорова пришло письмо, и когда она пришла к нему, то он угадал содержание письма и сердито, почти брезгливо крикнул: «Забудь!»

Но она не забыла. Каждый день по нескольку раз она открывала заветную шкатулку, перечитывала деревянное письмо, комментировала каждое слово, усиливаясь что-нибудь выжать. Может быть, он чем-нибудь связан? может быть, эта связь вдруг порвется, и он вернется к ней? ведь он ее любит... иначе зачем же было говорить? Словом сказать, она только этим письмом и жила.

Жизнь становилась все унылее и унылее. Наступила осень, вечера потемнели, полились дожди, парк с каждым днем все более и более обнажался; потом пошел

снег, настала зима. Прошлый год обещал повториться в мельчайших подробностях, за исключением той единственной светлой минуты, которая напоила ее сердце радостью...

В полной и на этот раз уже добровольно принятой бездеятельности она бродила по комнатам, не находя для себя удовлетворения даже в чтении. В ушах ее раздавались слова: «Нет, вы не бедная, вы — моя!» Она чувствовала прикосновение его руки к ее талии; поцелуй его горел на ее губах. И вдруг все пропало... куда? почему?

Отец несколько раз предлагал ей ехать в Петербург к тетке, но она настаивала в своем упорстве. Теперь уж не представление о долге приковывало ее к деревне, а какая-то тупая боязнь. Она боялась встретить *его,* боялась за себя, за свое чувство. Наверное, ее ожидает какое-нибудь жестокое разочарование, какая-нибудь новая жестокая игра. Она еще не хотела прямо признать деревянным письмо своего минутного жениха, но внутренний голос уже говорил ей об этом.

Так прошло целых томительных шесть лет. Наконец старик Ладогин умер, и Ольга почувствовала себя уже совсем одинокою.

Через месяц приехал брат и привез с собой «особу».

— Это моя приятельница, Нина Аветовна Шамаидзе,— рекомендовал он ее сестре,— прошу жаловать.

На другой день он спросил сестру, как она намерена располагать собой.

— Я поеду сначала в город, — ответила она, — а потом, когда кончатся дела, уеду к тете Наде в Петербург. У нас уже условлено.

— А где же вы изволите остановиться в городе?

— У мирового судьи Зуброва. Он просил меня. Покойный отец оставил завещание и назначил Зуброва душеприказчиком.

— Вот как! и завещание есть! А по-моему, вашему сословию достаточно бы пользоваться тем, что вам по закону предоставлено. В недвижимом имении — четырнадцатая, в движимом — осьмая часть. Ну, да ведь шесть лет около старичка сидели — может быть, что-нибудь и высидели.

Рано утром, на следующий же день, Ольги уже не было в отцовской усадьбе. Завещание было вскрыто, и в нем оказалось, что капитал покойного Ладогина был разделен поровну; а о недвижимом имении не упоминалось, так как оно было родовое. Ольга в самое короткое время покончила с наследством: приняла свою долю завещанного капитала, а от четырнадцатой части в недвижимом имении отказалась. В распоряжении ее оказалось около четырех тысяч годового дохода.

Приехала она к тетке в конце ноября, в самый разгар сезона. Надежда Федоровна хотя была значительно моложе брата, но все-таки ей шло уж за пятьдесят. Это была отличная девушка, бодро несшая и бремя лет, и свое одиночество. Она наняла довольно просторную квартиру в четвертом этаже, так что у нее и у Ольги было по две комнаты и общая столовая. Ольга сразу почувствовала себя удобно. Не было бесполезной громады комнат, которая давила ее в деревне; не слышно было таинственных шепотов, которые в деревенском доме ползли из всех щелей. С непривычки ей показалось даже тесновато, но она рада была этому.

Надежда Федоровна тормошилась с утра до вечера. Она была членом множества комитетов, комиссий, субкомиссий и проч., не пропускала ни одного заседания, ездила к влиятельным лицам, ходатайствовала, хлопотала. Усталая, возвращалась домой к обеду, а вечером опять исчезала. Иногда и у нее, в качестве председательницы какой-нибудь субкомиссии, собирались

«хорошие люди», толковали, решали вопросы, но, надо сказать правду, большинство этих решений формулировалось словами: нельзя ли как-нибудь найти путь к такому-то лицу? например, к тому-то, через того-то? нельзя ли воспользоваться приездом такого-то и при посредстве такого-то предложить ему принять в «нашем» деле участие?

— Он богат, ему ничего не значит выбросить пять, десять тысяч.

Словом сказать, Ольга поняла, что в России благие начинания, во-первых, живут под страхом и, во-вторых, еле дышат, благодаря благонамеренному вымогательству, без которого никто бы и не подумал явиться в качестве жертвователя. Сама Надежда Федоровна откровенно созналась в этом.

— Ты не поверишь, как нам горько и тяжело, — сказала она.

— Да, я слышала, что вы постоянно боитесь.

— Ты это от Семигорова шесть лет тому назад слышала. Что тогдашние страхи в сравнении с нынешними! нет, ты теперь посмотри! Кстати: Семигоров наведывается о тебе с большим интересом. Часто он бывал у вас?

— Да, бывал.

— Он умный. Но предупреждаю тебя: он не из «наших». Он карьерист, и сердце у него дряблое.

— Вы часто его видите?

— Не особенно. Обращаюсь к нему при случае, как и вообще ко всем, кто может помочь. Ах, мой друг, так нам тяжело, так тяжело! Ты представь себе только это одно: захотят нас простить — мы живы; не захотят — погибли. Одна эта мысль... ах!

Ольга, не без смущения, выслушала аттестацию Семигорова, но когда осталась одна, то опять перечитала заветное письмо и опять напрягла все усилия,

чтобы хоть что-нибудь из него выжать. Искру чувства, надежду... что-нибудь!

«Какое оно, однако ж, деревянное!» — в первый раз мелькнуло в ее голове.

Ольга скоро сделалась своею в том тесном кружке, в котором вращалась Надежда Федоровна. Настоящей деятельности она покамест не имела, но прислушивалась к советам опытных руководительниц и помогала, стараясь, чтобы влиятельные лица, по крайней мере, привыкли видеть ее. Она уже считала себя обреченною и не видела перед собой иного будущего, кроме того, которое осуществляла собой Надежда Федоровна.

Однажды, сидя в своей комнате, она услышала знакомый голос. Это был голос Семигорова, который приехал навестить тетку. Ольга встала и твердым шагом пошла туда, где шел разговор. Очевидно, она решила испытать себя и — «кончить».

Семигоров значительно постарел за семь лет. Он потолстел и обрюзг; лицо было по-прежнему бледное, но неприятно одутловатое и совсем деревянное. Говорил он, впрочем, так же плавно и резонно, как и тогда, когда она в первый раз увидела его.

Очевидно, внутри его существовало два течения: одно — старое, с либеральной закваской, другое — новейшее, которое шло навстречу карьере. Первое побуждало его не забывать старых друзей; второе подсказывало, что хотя не забывать и похвально, но сношения следует поддерживать с осторожностью. Он, разумеется, прибавлял при этом, что осторожность необходима не столько ради карьеры, сколько для того, чтобы... «не погубить дела».

— Ольга Васильевна! вы! — воскликнул он, протягивая обе руки,— а я хотел, переговоривши с Надеждой Федоровной, и вас, в вашем гнездышке, навестить.

— Все равно, здесь поговорим,— отвечала она сдержанно.

— Так неужто ж нельзя? — перебила их приветствие Надежда Федоровна.

— И нельзя и поздно — дело решенное. Не такое нынче время, чтобы глупости говорить.

— Что же «она» такого сказала?

— По ее мнению — ничего; по мнению других — много, слишком много. Я говорил и повторяю: главное в нашем деле — осторожность.

Далее он начал развивать, почему необходима осторожность. И сама по себе она полезна; в частности же, по отношению к веяниям времени, — составляла conditio sine qua non[1]. Нельзя-с. Он, конечно, понимает, что молодые увлечения должны быть принимаемы в соображение, но, с другой стороны, нельзя упускать из вида, что они приносят положительный вред. От копеечной свечки Москва загорелась — так и тут. Одно неосторожное слово может воспламенить сотни сердец, воспламенить бесплодно и несвоевременно. Допустим, что абсолютно это слово не заключает в себе вреда, но с точки зрения несвоевременности — вопрос представляется совсем в другом виде.

— Нельзя-с,— сказал он решительно,— я и просил, и даже надоедал, и получил в ответ: «Оставьте, мой друг!» Согласитесь сами...

— Нельзя ли? — приставала Надежда Федоровна.

Ольге вдруг сделалось как-то безнадежно скучно. Даже голова у нее заболела от этого переливания из пустого в порожнее. Те самые речи, которые семь лет тому назад увлекли ее, теперь показались ей плоскими, почти бессовестными.

---

[1] обязательное условие *(лат.)*.

— Я ухожу, тетя! — сказала она.

— А меня так и не примете у себя? — спросил Семигоров.

— Мне нужно идти. В другой раз. Вспомните — зайдете.

Она разом решила, что все «кончено». Зашла в свою комнату, разорвала заветное письмо на клочки и бросила в топившуюся печку; даже не взглянула, как оно запылало.

Прошел год, и ее деятельность была замечена; ей предложили председательское кресло в «Обществе азбуки-копейки». Хлопот было по горло, но и страха немало. Пробовала было она не страшиться, но скоро поняла, что это невозможно. Общество издало отличнейшую азбуку с иллюстрациями, но в ней на букву Д нарисована была картинка, изображающая прядущую девушку, а под картинкой было подписано: *Дивчина.* «Критика» заметила это и обвинила азбуку в украинофильстве. На букву П был нарисован человек в кунтуше, а подпись гласила: *Пан.* И это заметила «критика» и обвинила азбуку в полонофильстве. В отделе кратких исторических и географических сведений тоже замечены были промахи и пропуски, и все такие, которые свидетельствовали о недостаточной теплоте чувств. Ольга Васильевна бегала, оправдывалась и ходатайствовала, не щадя живота.

— Ведь ваша же пресловутая литература вас с головой выдает! — говорили ей.

Ах, эта литература!

Благодаря беготне дело сошло с рук благополучно; но затем предстояли еще и еще дела. Первое издание азбуки разошлось быстро, надо было готовиться к другому — уже без промахов. «Дивчину» заменили старухой и подписали: Домна; «Пана» заменили мужичком с топором за поясом и подписали: Потап-плотник. Но как попасть в мысль и намерения «крити-

ки»? Пожалуй, будут сравнивать второе издание с первым и скажут: а! догадались! думаете, что надели маску, так вас под ней и не узнают!

— Дело в том, — объяснил ей Семигоров, — что общество ваше хотя и дозволенное и цели его вполне одобрительны, но пальца ему в рот все-таки не клади.

— Но почему же?

— А потому, что потому. Существуют такие тонкие признаки. Состав общества, его чересчур кипучая деятельность — все это прямо бросается в глаза. Ну, с чего вы, например, Ольга Васильевна Ладогина, вполне обеспеченная девица, так кипятитесь по поводу какой-то жалкой азбуки?

— Как с чего? — во-первых, я русская и вижу в распространении грамотности одно из условий благосостояния родной страны; а во-вторых, это дело доставляет мне удовольствие; я взялась за него, мне его доверили, и я не могу не хлопотать о нем.

— Э, барышня! и без нас с вами все устроится!

— Так вы бы так прямо и говорили. А то прихóдите, уверяете в своем сочувствии...

— Я-то сочувствую, да вот... Нельзя «прать против рожна», Ольга Васильевна!

Но она продолжала «прать», быть может, потому, что не понимала, в чем собственно заключается рожон, а Семигоров не мог или не хотел объяснить ей сокровенный смысл этого выражения.

Прошел еще год. Надежда Федоровна хлопотала об открытии «Общества для вспоможения чающим движения воды». Старания ее увенчались успехом, но — увы! она изнемогла под бременем ходатайств и суеты. Пришла старость, нужен был покой, а она не хотела и слышать о нем. В самом разгаре деятельности, когда в голове ее созревали все новые и новые планы (Семиго-

ров потихоньку называл их «подвохами»), она умерла, завещавши на смертном одре племяннице свое «дело».

Ольга Васильевна осталась совсем одинокою.

Теперь ей уж за тридцать. Она пошла по следам тетки и всецело отдала себя, свой труд и материальные средства тому скромному делу, которое она вполне искренно называла оздоровляющим. Она состоит деятельным членом всех обществ, где речь идет о помощи, а в некоторых из них председательствует. Устраивает базары, лотереи, танцевальные вечера. Все это требует больших хлопот и преодоления препятствий, но она не унывает. Напротив, привычка в значительной мере умалила ее страхи, а деятельная жизнь способствовала укреплению ее сил и здоровья. Дома ее можно застать очень редко, — все больше в комитетах, комиссиях, субкомиссиях и, разумеется, в канцеляриях. Даже горничная ее совершенно отчетливо произносит названия этих учреждений и на вопрос посетителей отвечает бойко и безошибочно.

По временам она вспоминает слова доктора, который лечил ее отца, о «крохах» и говорит:

— Вот и у меня свои «крохи» нашлись. И не одна, даже не несколько, а целая куча!

СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА

Анна Петровна Губина была сельской учительницей. Составляла ли эта профессия ее призвание, или просто так случилось, что деваться было больше некуда, — она и сама не могла бы дать ясно формулированного ответа на этот вопрос. Получила диплом учительницы, потом открылось место на пятнадцать

рублей в месяц жалованья, и она приняла его. Осенью, к началу учебного семестра, она приехала в село; ей указали, где помещается школа, и она осталась. К счастию, при школе было помещение для учительницы: комната и при ней крохотная кухня; а то бывает и так, что учительница каждую неделю переходит из одной избы в другую, так что квартира насадительницы знаний представляет для обывателей своеобразную натуральную повинность.

Школа помещалась в просторном флигеле, который при крепостном праве занимал управляющий имением и который бывший помещик пожертвовал миру под училище. Места для учащихся было достаточно, но здание было старое, и крестьяне в продолжение многих лет не ремонтировали его. Печи дымили, потолки протекали, из всех щелей дуло.

Учение было самое первоначальное. Читать, писать, поверхностные сведения из грамматики, первые четыре правила арифметики, краткая священная история — вот и все. Старались, чтобы в год, много в два, ребенок познал всю премудрость. За строгим соблюдением программы, в особенности в смысле ее нерасширения, наблюдал местный священник; попечителем школы состоял сельский староста, а высший надзор был предоставлен помещику, который постоянно жил за границей, но изредка наведывался и в усадьбу. В школу ходили исключительно мальчики.

Дело у Анны Петровны налаживалось не споро. Учительницу не ждали так скоро, и помещение школы было в беспорядке. Прежде нежели собрались ученики, в школу приходили родители и с любопытством рассматривали новую учительницу.

— Вы робят наускоре обучайте; нам ведь только бы читать да писать умели. Да цифири малость. Без чего нельзя, так нельзя, а лишнего для нас не требуется. Нам дети дома нужны. А ежели который стараться не

станет, можно такого и попугать. Вон он в углу — веник — стоит. Сделайте милость, постарайтесь.

Исподволь устроилась она, однако ж, и в школе, и у себя в каморке. Вместо мебели ей поставили простой, некрашеный стол и три табуретки; в углу стояла кровать, перешедшая, вместе с домом, от управляющего; в стену вбито было несколько гвоздей, на которые она могла вешать свой гардероб. При школе находился сторож, который топил печи и выметал с вечера классную комнату. Насчет продовольствия она справилась, как жила ее предшественница, и получила ответ, что последняя ходила обедать к священнику за небольшую плату, а дома только чай держала. Священник и ее охотно согласился взять на хлеба.

— Я не из корысти, — сказал он, — а жалеючи вас: кто же вам будет готовить? Здесь вы не только горячей пищи, и хлеба с трудом найдете. Мы за обед с вас пять рублей в месяц положим. Лишнего не подадим, а сыты будете. Станете ходить каждый день к нам и обзнакомитесь; и вам и нам веселее будет. Ежели какие сомнения встретите, то за обедом общим советом и разрешим. Вкупе да влюбе — вот как по-моему. Ежели вы с любовью придете, то я, как пастырь, и тем паче. Но не скрою от вас: труд вам предстоит не легкий и не всегда беспрепятственный. Народ здесь строптивый, неприветливый, притязательный. Каждый будет к вам требования предъявлять, а иной раз и такие, от которых жутко придется. Людмила Михайловна, предшественница ваша, повздорила с Васильем Дроздом, так насилу отсюда выбралась.

— Кто это Дрозд?

— А здешний воротила, портерную держит, лавочку, весь мир у него под пятой, и начальство привержено. Сын у него в школе, так он подарок Людмиле Михайловне вздумал поднести, а она уперлась. Он, конечно, обиделся, доносы стал писать — ну,

и пришлось бежать. Земство так и не оставило ее у себя; живет она теперь в городе в помощницах у одной помещицы, которая вроде пансиона содержит.

— Однако строго-таки у вас.

— И даже очень. Главное, в церковь прилежно ходите. Я и как пастырь вас увещеваю, и как человек предостерегаю. Как пастырь говорю: только церковь может утешить нас в жизненных треволнениях; как человек предваряю, что нет легче и опаснее обвинения, как обвинение в недостатке религиозности. А впрочем, загадывать вперед бесполезно. Приехали — стало быть, дело кончено. Бог да благословит вас.

Священник был старозаветный, добрый; попадья у него была тоже добрая. Дети находились в разброде, так что старики жили совсем одни. Оба были люди деятельные, с утра до вечера хлопотали и довольствовались одной работницей. Батюшка и до сих пор полеводство держал, но больше уже по привычке, без выгоды. К Анне Петровне они отнеслись сочувственно; она напоминала им о детях. Для нее это было хорошее предзнаменование; несмотря на предостережение батюшки, относительно трудности предстоящего ей пути, она все-таки надеялась найти в его доме приют и защиту.

Она рассчитала, что если будет тратить пять рублей на обед да пять рублей на чай и баранки, то у нее все-таки останется из жалованья пять рублей. Этого было, по ее скромным требованиям, достаточно. Квартира была готовая, и она устроилась в ней, как могла, хотя каждый день выгонял ее часа на два из дома угар. Одежды она привезла с собой довольно, так что и по этой статье расходов не предстояло. Скуки она не боялась. Днем будет заниматься с учениками, вечером — готовиться к будущему дню или проводить

время в семье священника, который получал от соседнего управляющего газеты и охотно делился с нею. Ничего, как-нибудь проживет.

Ученье началось. Набралось до сорока мальчиков, которые наполнили школу шумом и гамом. Некоторые были уж на возрасте и довольно нахально смотрели в глаза учительнице. Вообще ее испытывали, прерывали во время объяснений, кричали, подражали зверям. Она старалась делать вид, что не обращает внимания, но это ей стоило немалых усилий. Под конец у нее до того разболелась голова, что она едва дождалась конца двух часов, в продолжение которых шло ученье.

— А я, признаться, посетовала на вас, — сказала она священнику за обедом, — что бы вам стоило на первый раз придти поддержать меня!

— Я именно для того и не пришел, — ответил батюшка, — чтоб вы с первого же раза узнали настоящую суть дела. Если б сегодня вы не узнали ее, все равно пришлось бы узнавать завтра.

На другой день пришел попечитель-староста и осведомился, тихо ли сидят ученики. Она ответила, что сносно и что в будущем дело, конечно, наладится.

— То-то, вы их не жалейте; для того и веник в углу припасен. Выньте розгу и отстегайте! — посоветовал попечитель.

Не прошло, однако ж, и двух недель, как ей пришлось встретиться с «строптивейшим из строптивых», с тем самым Васильем Дроздом, который вытеснил ее предместницу. Дрозд бесцеремонно вошел в ее комнату, принес кулек, положил на стол и сказал:

— У вас наш мальчонко учится, так вот вам. Тут чаю полфунта, сахару, ветчины и гостинцу, кушайте на здоровье. А сверх того, и деньгами два рубля.

Он достал из-за пазухи кошель, вынул две рублевки и положил рядом с кульком.

— Зачем же это? ведь это не дозволено! — вспыхнула она.

— А вы займитесь с мальцом-то, не задерживайте его.

— Я и без того займусь. Не надо, не надо! Уйдите, прошу вас!

Дрозд обиделся; даже губы у него побелели.

— Стало быть, вы и доброхотством нашим гнушаетесь? — спросил он, осматривая ее с ног до головы негодующим взором.

— Не надо! — крикнула она и вдруг спохватилась. Вспомнилась ей Людмила Михайловна; вспомнилось и то, что еще в Петербурге ей говорили, что всего пуще надо бояться ссор с влиятельными лицами; что вот такая-то поссорилась с старостой, и была вытеснена; такая-то не угодила члену земской управы, и тоже теперь без места.

— Послушайте,— сказала она, присмирев,— я и без того с вашим сыном займусь... даю вам слово! Ежели хотите, пускай он ко мне по вечерам ходит; я буду с ним повторять.

— А приношения нашего не желаете?

— Знаете, вы лучше вот что: печи у нас в школе дымят, потолки протекают, так вы бы помогли.

— Это мир должен. Расход тоже не маленький. Печку-то перебрать что стоит? Нет, уж что тут. Счастливо оставаться.

Он надел тут же, в комнате, шапку, собрал со стола приношение и вышел. Она несколько секунд колебалась, но потом не выдержала и догнала его на улице:

— Пожалуйста, не сердитесь. Нам ведь не велено. Присылайте вашего мальчика по вечерам — я займусь им особенно!

Дрозд взглянул на нее с усмешкой.

— Стало быть, про Людмилу Михайловну вспомнили? — сказал он нагло. — Ну, ладно, буду своего

мальца присылать по вечерам, ежели свободно. Спесивы вы не к лицу. Впрочем, денег теперича я и сам не дам, а это — вот вам!

Он скорыми шагами удалился, а Анна Петровна осталась на улице с кульком в руках.

Рассказала она об этом батюшке, который посоветовал «оставить».

— Возьмите, — сказал он, — историю себе наживете. С сильным не борись! и пословица так говорит. Еще скажут, что кобенитесь, а он и невесть чего наплетет. Кушайте на здоровье! Не нами это заведено, не нами и кончится. Увидите, что ежели вы последуете моему совету, то и прочие миряне дружелюбнее к вам будут.

Действительно, к ней начали относиться ласковее. После Дрозда пришел староста, потом еще два-три мужичка из зажиточных — все с кульками.

По вечерам открылись занятия, собиралось до пятишести учеников. Ценою непрошеных кульков, напоминавших о подкупе, Анна Петровна совсем лишилась свободного времени. Ни почитать, ни готовиться к занятиям следующего дня — некогда. К довершению ученики оказались тупы, требовали усиленного труда. Зато доносов на нее не было, и Дрозд, имевший частые сношения с городом, каждый месяц исправно привозил ей из управы жалованье. Сам староста, по окончании церковной службы, поздравлял ее с праздником и хвалил.

— Вон Людмила Михайловна редко в церкву ходила, — говорил он, — а вы бога не забываете!

В продолжение целой зимы она прожила в чаду беспрерывной сутолоки, не имея возможности придти в себя, дать себе отчет в своем положении. О будущем она, конечно, не думала: ее будущее составляли те ежемесячные пятнадцать рублей, которые не давали ей погибнуть с голода. Но что́ такое с нею делается?

Предвидела ли она, даже в самые скорбные минуты своего тусклого существования, что ей придется влачить жизнь, которую нельзя было сравнить ни с чем иным, кроме хронического остолбенения?

Она была сирота, даже не знала, кто были ее родители. Младенцем ее подкинули, и сострадательная хозяйка квартиры, у дверей которой она очутилась в корзинке, сначала поместила ее в воспитательный дом, потом в приют и, наконец, в училище, где она и получила диплом на звание сельской учительницы. Затем сострадательная душа сочла свой долг выполненным и отпустила ее на все четыре стороны, снабдив несколькими платьями и давши на дорогу небольшую сумму денег. После этого Губина очутилась в селе. Надолго ли? — она даже не задавала себе этого вопроса. Она понимала только, что отныне предоставлена самой себе, своим силам, и что, в случае какой-нибудь невзгоды, она должна будет вынести ее на собственных плечах. Обратиться к кому-нибудь за поддержкой она не имела основания; товарки у нее были такие же горькие, как и она сама. Все они рассеялись по лицу земли, все находились в тех же материальных и нравственных условиях, все бились из-за куска хлеба. Она была более нежели одинока. И одинокий человек может устроиться так, чтобы за него «заступились», может оградить себя от случайностей, а до нее решительно никому дела не было. Даже никакому благотворительному учреждению она не была подведома, так что над всею ее судьбою исключительно господствовала случайность, да и та могла оказывать действие только в неблагоприятном для нее смысле.

Она никогда не думала о том, красива она или нет. В действительности, она не могла назваться красивою, но молодость и свежесть восполняли то, чего не давали черты лица. Сам волостной писарь заглядывался на нее; но так как он был женат, то открыто объявлять о

своем пламени не решался и от времени до времени присылал стихи, в которых довольно недвусмысленно излагал свои вожделения. Дрозд тоже однажды мимоходом намекнул:

— Ах, барышня, барышня! озолотил бы я вас, кабы...

Женщина еще едва просыпалась в ней. Она не понимала ни стихов, ни намеков, ни того, что за ними кроется злое женское горе. Ее поражали только глупость и бесцеремонность, но она сознавала себя настолько беззащитною, что мысль о жалобе даже не приходила ей в голову. Все знали, что ее можно «раздавить», и, следовательно, если б она даже просила о защите — хоть бы члена училищного совета, изредка навещавшего школу, — ей бы ответили: «С какими вы все глупостями лезете — какое нам дело!» Оставалось терпеть и крепко держаться за тот кусок, который послала ей судьба. Потому что, если б ее даже выслушали и перевели на другое место, то и там повторилось бы то же самое, пожалуй, даже с прибавкою какой-нибудь злой сплетни, которая в подобных случаях непременно предшествует перемещению.

Настоящее горе ждало ее не тут, а подстерегало издалека.

В апреле, совсем неожиданно, приехал в свою усадьбу местный землевладелец, он же и главный попечитель школы, Андрей Степаныч Аигин. Прибыл он затем, чтобы продать леса и на вырученные деньги прожить лето за границей. Операция предстояла несложная, но Аигин предположил пробыть в деревне до мая, с тем чтобы, кстати, учесть управителя, возобновить на всякий случай связи с местными властями и посмотреть на школу.

Это был молодой человек лет двадцати семи, легкомысленный и беспечный. Учился он плохо, образование имел самое поверхностное, но за всем тем пользо-

вался образовательным цензом, и так как принадлежал к числу крупных землевладельцев, то попечительство над школою, так сказать, по принципу, досталось ему. Независимо от материальных пожертвований, которые состоятельный человек мог делать в пользу школы, принцип в особенности настаивал на поддержке крупного землевладения и того значения, которое оно должно иметь в уезде. Нужды нет, что крупный землевладелец мог совершенно игнорировать свой уезд; достаточно было его имени, его ежегодных денежных взносов, чтобы напомнить о нем и о той роли, которая по праву ему принадлежала. У него есть на месте доверенное лицо, которое будет сообщать ему о местных делах и нуждах; наконец, нет-нет, да вдруг ему вздумается: «Не съездить ли заглянуть, что-то в нашем захолустье творится?» И съездит.

Именно таким образом поступал Аигин. В продолжение шести лет попечительства (он начал независимую жизнь очень рано) Андрей Степаныч посетил усадьбу всего второй раз, и на самое короткое время. Принимали его, как подобает принимать влиятельное лицо, и очень лестно давали почувствовать, что от него зависит принять деятельное участие во главе уездной сутолоки. Но покуда он еще уклонялся от чести, предоставляя себе принять решение в этом смысле, когда утехи молодости уступят место мечтам честолюбия.

Одного в нем нельзя было отрицать: он был красив, отлично одевался и умел быть любезным. Только чересчур развязные манеры и привычка постоянно носить пенсне, поминутно сбрасывая его и опять надевая, несколько портили общее благоприятное впечатление.

Аигин на первых же порах по приезде посетил школу («это мое детище», — выражался он). Он

явился в сопровождении члена училищного совета, священника и старосты. Похвалив порядки, он так пристально посмотрел на Анну Петровну, что та покраснела. Уходя, он сказал совсем бесцеремонно, что ему очень приятно, что в *его* школе такая хорошенькая учительница. До сих пор он редко ездил в деревню, потому что все учительницы изображали собой какой-нибудь из смертных грехов, а теперь будет ездить чаще. И в заключение прибавил, что Анне Петровне настоящее место не в захолустье, а в столице, и что он похлопочет о ней.

В тот же день у него был обед, на который были приглашены все прикосновенные к школе, а в том числе и Анна Петровна.

После этого он зачастил в школу. Просиживал в продолжение целых уроков и не спускал с учительницы глаз. При прощании так крепко сжимал ее руку, что сердце ее беспокойно билось и кровь невольно закипала. Вообще он действовал не вкрадчивостью речей, не раскрытием новых горизонтов, а силою своей красоты и молодости. Оба были молоды, в обоих слышалось трепетание жизни. Он посетил ее даже в ее каморке и похвалил, что она сумела устроиться в таком жалком помещении. Однажды он ей сказал:

— Отчего вы не посетите меня? боитесь?

— Нет, не боюсь,— отвечала она, дрожа всем телом.

— Но, в таком случае...

Он не договорил, но взял ее за руку и поцеловал.

Целое послеобеда после этого она была как в чаду, не знала, что с нею делается. И жутко и сладко ей было в одно и то же время, но ничего ясного. Хаос переполнял все ее существо; она беспокойно ходила по комнате, перебирала платья, вещи, не знала, что делать. Наконец, когда уже смерклось, от него

пришел посланный и сказал, что Андрей Степаныч просит ее на чашку чая.

Она подумала: «Ах, как это все скоро!» — и затем почувствовала такую истому в сердце, что открыла окно, чтоб освежить пылающую голову.

Через полчаса она была уже у него.

Роман ее был непродолжителен. Через неделю Аигин собрался так же внезапно, как внезапно приехал. Он не был особенно нежен с нею, ничего не обещал, не говорил о том, что они когда-нибудь встретятся, и только однажды спросил, не нуждается ли она. Разумеется, она ответила отрицательно. Даже собравшись совсем, он не зашел к ней проститься, а только, проезжая в коляске мимо школы, вышел из экипажа и очень тихо постучал указательным пальцем в окно.

— Увидимся! — крикнул он ей.

Она сделала инстинктивное движение, чтобы выйти к нему, но удержалась и только слабо улыбнулась в ответ.

Таким образом, победа обошлась ему очень легко. Он сделал гнусность, по-видимому, даже не подозревая, что это гнусность: чтó она такое, чтобы стеснять ради нее свою совесть? Он предлагал ей денег, она отказалась — это уж ее дело. Не он один, все так делают. А впрочем, все-таки недурно, что обошлось без слез, без упреков. Это доказывает, что она умна.

На селе, однако ж, ее вечерние похождения были уже всем известны. При встречах с нею молодые парни двусмысленно перемигивались, пожилые люди шутили. Бабы заранее ее ненавидели, как будущую сельскую «сахарницу», которая способна отуманить головы мужиков. Волостной писарь однажды прямо



спросил: «В какое время, барышня, вы можете меня принять?» — а присутствовавший при этой сцене Дрозд прибавил: «Чего спрашиваешь? приходи, когда вздумается,— и вся недолга!»

Сам батюшка, несмотря на доброту, усомнился и однажды за обедом объявил, что долее содержать ее на хлебах не может.

— Жаль мне вас, — сказал он, — душевно жаль, но мне, как духовному лицу, не приличествует...

Матушка тоже выразила сожаление и выронила две-три слезинки.

Только школьный сторож выказал к ней участие. Когда она, бледная и еле живая, воротилась от священника домой, он сказал:

— Ничего, потерпите; бог терпел и нам велел. И я сумею вам щи сготовить.

К довершению всего она почувствовала себя матерью, и вдруг какая-то страшная бездна разверзлась перед нею. Глаза затуманились, голова наполнилась гулом; ноги и руки дрожали, сердце беспорядочно билось; одна мысль отчетливо представлялась уму: «Теперь я пропала».

К счастию, начались каникулы, и она могла запереться в своей комнате. Но она очень хорошо понимала, что никакая изолированность не спасет ее. «Пропала!» — в этом слове заключалось все ее будущее. Признаки предстоящей гибели уже начали оказываться. В праздничные дни молодые сельские парни гурьбою останавливались против ее окон и кричали:

— С приплодцем!

Конечно, у нее еще был выход: отдать себя под покровительство волостного писаря, Дрозда или другого влиятельного лица, но она с ужасом останавливалась перед этой перспективой и в безвыходном отчаянии металась по комнате, ломала себе руки

и билась о стену головой. Этим начинался ее день и этим кончался. Ночью она видела страшные сны.

Летом она надумала отправиться в город к Людмиле Михайловне, с которою, впрочем, была незнакома. Ночью прошла она двадцать верст, все время о чем-то думая и в то же время не сознавая, зачем, собственно, она идет. «Пропала!» — безостановочно звенело у нее в ушах.

Людмила Михайловна приняла ее радушно, но тотчас же заметила, что она виновата.

— Это, голубушка, всего менее прощается, — сказала она, и хотя в словах ее не слышалось жестокости, но Анна Петровна поняла, что помощи ей ждать неоткуда.

— Помогите! — простонала она.

Людмила Михайловна тронулась. Обещала переговорить с содержательницей пансиона, которая в настоящее время жила в деревне, нельзя ли устроить так, чтоб «виноватая» прожила у нее хоть без жалованья, в качестве простой прислуги, те критические месяцы, по окончании которых должна была обнаружиться ее «вина».

— Раньше окончания каникул она вас не возьмет: ей не расчет содержать вас на хлебах, но после, быть может... Во всяком случае, я на днях увижусь с нею и уведомлю вас, — прибавила она.

В то же утро Анна Петровна встретила на улице знакомого члена училищного совета, который нагло улыбнулся ей и сказал:

— О вас доходят до совета неодобрительные отзывы. Ежели вы сознаете их справедливыми, то советую принять меры...

Он не докончил, приподнял шляпу и удалился.

Дни шли за днями, а от Людмилы Михайловны никаких вестей не приходило. Или забыла, или ничего

не могла. Из училищного совета тоже никаких слухов не было.

Наконец наступил сентябрь, и опять начались классы. Анна Петровна едва держалась на ногах, но исправно посещала школу. Ученики, однако ж, поняли, что она виновата и ничего им сделать не смеет. Начались беспорядки, шум, гвалт. Некоторые мальчики вполне явственно говорили: «С приплодцем!»; другие уверяли, что у них к будущей масленице будет не одна, а разом две учительницы. Положение день ото дня становилось невыносимее.

В ноябре, когда наступили темные, безлунные ночи, сердце ее до того переполнилось гнетущей тоской, что она не могла уже сдержать себя. Она вышла однажды на улицу и пошла по направлению к мельничной плотинке. Речка бурлила и пенилась; шел сильный дождь; сквозь осыпанные мукой стекла окон брезжил тусклый свет; колесо стучало, но помольцы скрылись. Было пустынно, мрачно, безрассветно. Она дошла до середины мостков, переброшенных через плотину, и бросилась головой вперед на понырный мост.

Жизнь ее порвалась, почти не начавшись. Порвалась бессмысленно, незаслуженно и жестоко.

ПОЛКОВНИЦКАЯ ДОЧЬ

Полковник Варнавинцев пал на поле сражения. Когда его, с оторванной рукой и раздробленным плечом, истекающего кровью, несли на перевязочный пункт, он в агонии бормотал: «Лидочка... государь... Лидочка... господи!»

Обратились к его формуляру. Там значилось: «Полковник Варнавинцев из дворян Вологодской губернии, вдов, имеет дочь Лидию; за ним состоит

родовое имение в Тотемском уезде, в количестве 14-ти душ, при 500 десятинах земли».

Очевидно, что последнею его мыслью было поручить дочь государю.

Желание полковника было исполнено. Через товарищей разузнали, что Лидочка, вместе с сестрою покойного, живет в деревне, что Варнавинцев недели за две перед сраженьем послал сестре половину своего месячного жалованья и что вообще положение семейства покойного весьма незавидное, ежели даже оно воспользуется небольшою пенсией, следовавшей, по закону, его дочери. Послана была бумага, чтобы удостовериться на месте, как признавалось бы наиболее полезным устроить полковницкую дочь.

Варнавинцевы еще не знали о смерти полковника, когда в их усадьбу приехал исправник. Усадьба эта находилась в захолустье Тотемского уезда, в селе, где, кроме них, ютились еще две-три мелкопоместных семьи. Домик у них был крохотный, ветхий, еле живой. Половицы ходуном ходили, потолок протекал, двери завязывались веревочкой, из окон дуло. В мирное время полковник держал дочь при себе, переходя с полком с одних зимних квартир на другие. Имением управляла сестра, девица лет под шестьдесят, которая не выезжала из деревни, перебиваясь кой-как и не имея даже возможности исправить упалый домишко. Но когда открылись военные действия, Лидочку увезли к тетке. Полковник думал, что кампания будет недолгая, а она между тем затянулась и в заключение — послала ему смерть.

Лидочке было двенадцать лет, когда в ее жизни совершился решительный поворот. О крепостной реформе и слухов не было, но крохотная барщина доставляла так мало, что с прекращением помощи со стороны полковника вдвоем просуществовать было невозможно. Земли было, по-видимому, и довольно,

но половина ее находилась под зыбучим болотом, а добрый кусок занимали пески; из остального количества, за наделением крестьян, на долю помещика приходилось не больше шестидесяти десятин, но и то весьма сомнительного качества. Собственно говоря, главным подспорьем служил небольшой огород да лужок, дававший достаточно сена, чтобы содержать лошадь и с десяток коров. Прислуга при доме состояла из двух человек: хромоногого бобыля Фоки да пожилой бобылки Филанидушки, которые и справляли все работы около дома.

Но Прасковья Гавриловна (так звали старушку Варнавинцеву) была еще бодра и сильна. Она почти без посторонней помощи сама обработывала огород, убирала комнаты, зимой топила печки, покуда бобылка Филанидушка возилась в стряпущей, ходила за коровами и т. д. Сверх того, она завела у себя нечто вроде сельской школы. Набралось до двенадцати мальчиков и девочек, за обучение которых она деньгами не брала, а предоставляла благодарить ее натурой. Таким образом, у нее был обеспеченный запас муки, пряжи, полотна и другого деревенского добра.

Лидочка горячо любила отца и скоро подружилась с теткой. Когда пришла роковая весть, у обеих сердца застыли. Лидочка испугалась, убежала и спряталась в палисаднике. Прасковью Гавриловну придавила мысль, что рушилось все, что защищало их и указывало на какой-нибудь просвет в будущем. Она с ужасом глядела на Лидочку. Ей представился, рядом с гробом покойного брата, ее собственный гроб, а за этими двумя гробами зияла бездна одиночества и беспомощности, которые должны были поглотить Лидочку.

Однако известие, что участь племянницы обратила на себя внимание, несколько ободрило Прасковью Гав-

риловну. Решено было просить о помещении девочки на казенный счет в институт, и просьба эта была уважена. Через три месяца Лидочка была уже в Петербурге, заключенная в четырех стенах одного из лучших институтов. А кроме того, за нею оставлена была и небольшая пенсия, назначенная за заслуги отца. Пенсию эту предполагалось копить из процентов и выдать сироте по выходе из института.

Бедность и сиротство Лидочки, ее характер, скромный и общительный, неблестящие способности, при чрезвычайном прилежании, некрасивая внешность — всё это сразу определяло ее институтское будущее. В нее вольется атмосфера институтского ребячества и малокровия; на нее ляжет та своеобразная печать, от которой не могут отделаться институтки даже долгое время после выпуска. Она будет играть в институте роль интересной сироты, но ее не будут заставлять ни играть на фортепиано, ни танцевать па-де-шаль в присутствии влиятельных посетителей. Скорее всего, она останется принадлежностью института, сначала в качестве воспитанницы, потом в качестве пепиньерки и, наконец, в качестве классной дамы. Классные дамы бывают двух сортов: злые и добрые; но она будет добрая, и все ее будут любить. Маленькие институтки будут ее обожать, большие перед выходом говорить ей «ты» и возьмут с нее слово не забывать их и по выходе из института. Благодаря беспрерывному нахождению среди детей она до глубокой старости сохранит ребяческую душу, ребяческое сердце, ребяческий ум.

Лидочку очень обласкали на первых порах. Посетителям указывали на нее глазами и шепотом говорили:

— Вы знаете... храбрый полковник Варнавинцев... celui, qui... [1] так это его дочь.

---

[1] тот самый, который... (*франц.*)

С товарками она тоже сошлась; ко всем ласкалась и всегда так отлично знала уроки, что помогала лениненьким в их занятиях. Сверх того, всех занимало и ее исключительное положение.

— Неужто к тебе никто по воскресеньям ездить не будет? — спрашивали ее.

— Кому же ко мне ездить?.. я сирота! Папаша мой пал на поле сражения, а тетя в деревне живет.

Она объясняла это так просто, как будто хотела сказать: как же вы не понимаете, что для меня остаются только стены института?

Даже родные институток, приезжавшие в институт в определенные дни, заинтересовались ею. Подзывали ее к себе, потчевали конфектами и пирожками, а княгиня Тараканова до того однажды договорилась, что просила ее кланяться тетке.

Тетка писала ей аккуратно два раза в месяц и подробно уведомляла о деревенском житье. Лидочка знала, что корова Красавка отелилась телочкой, что собака Жучка ослепла, что Фока лежал целый месяц больной и что нынешнее лето совсем огурцов не уродилось. Читая эти письма, девочка то радовалась, то плакала. Ей было приятно, что Красавка принесла телочку, а не бычка, но жаль было Жучку и Фоку, а всего больше жаль тетеньку, которая осталась без огурцов. «Должно быть, в Тотемском уезде климат слишком суров, — писала она к тетке, — потому что все наши девицы говорят, что в их краях никогда не бывало такого изобилия огурцов. Поливаете ли вы их, голубушка? И уродились ли, по крайней мере, рыжечки, которые в некоторых случаях могут вполне заменить огурцы?» Корреспонденция эта была единственным звеном, связывающим ее с живым миром; она одна напоминала сироте, что у нее есть где-то свое гнездо, и в нем своя церковь, в которой старая тетка молится о ней, Лидочке, и с нетерпением ждет часа, когда она

появится в свете и — кто знает — быть может, составит блестящую партию... Ведь недаром же храбрый полковник Варнавинцев пал на поле сражения; найдутся люди, которые, ради отца, вспомнят и о дочери...

Из класса в класс Лидочка переходила исправно, но Прасковья Гавриловна не дождалась выхода ее сиротки из института и за год до окончания курса мирно скончалась в своем родовом Васильевском. Об этом Лидочку известил сельский священник, спрашивая, как поступить с господским домом, который совсем разваливается, и с Фокой и с Филанидушкой, которые остались ни при чем. Лидочка несколько дней сряду проплакала, но потом ребяческим своим умом рассудила, что если бог решил отозвать ее тетю, то, стало быть, это ему так угодно, что слезы представляют собой тот же ропот, которым она огорчает бога, и т. д.

— Наконец-то вы успокоились, Лидочка! — говорила ей классная дама.

— Я рассудила, Клеопатра Карловна, что слезами мы ничему помочь не можем, а только гневим своим ропотом бога, которому, конечно, известно, как лучше с нами поступить,— резонно ответила девушка.

— И всегда так рассуждайте! — похвалила ее дама,— бог будет любить вас за это, а тетенька будет на вас радоваться. На свете всегда так бывает. Иногда мы думаем, что нас постигло несчастье, а это только испытание; а иногда — совсем напротив.

И тут сиротке помогли. Поручили губернатору озаботиться ее интересами и произвести ликвидацию ее дел. Через полгода все было кончено: господский дом продали на снос; землю, которая обрабатывалась в пользу помещика, раскупили по клочкам крестьяне; инвентарь — тоже; Фоку и Филанидушку поместили в

богадельни. Вся ликвидация дала около двух тысяч рублей, да крестьяне, сверх того, были посажены на оброк по семи рублей с души.

— Ты, душка, по девяносто восьми рублей в год будешь получать! — поздравляли ее товарки.

— Счастливица!

— Нашли кому завидовать... миллионщицы! — отшучивалась сирота, но в душе совершенно правильно рассудила, что и девяносто восемь рублей на полу не поднимешь; что девяносто восемь рублей да проценты с капитала, вырученного за проданное имущество, около ста двадцати рублей — это уж двести осьмнадцать, да пенсии накопится к ее выходу около тысячи рублей — опять шестьдесят рублей...

Она не была ни жадна, ни мечтательна, но любила процесс сложения и вычитания. Сядет в угол и делает выкладки. Всегда она стояла на твердой почве, предпочитая истины общепризнанные, прочные. Говорила рассудительно, считала верно. Алгебры не понимала, как и вообще никаких отвлечений.

— Зачем мне *a* да *b*,— говорила она,— ежели я могу вместо *a* поставить 1, вместо *b* — 2? $1+2$ — я понимаю, а $a+b$, — воля ваша, даже не вижу надобности понимать. Вот сегодня Леночке прислали десяток яблоков — ведь мы же не говорим, что она получила *c* яблоков?

Даже из басен Крылова она предпочитала «Ворону и Лисицу», «Три мужика» и т. д., а не «Стрекозу и Муравья», «Музыкантов» и проч.

— Стрекоза живет по-стрекозиному, муравей — по-муравьиному. Что же тут странного, что стрекоза «лето целое пропела»? Ведь будущей весной она и опять запела в полях — стало быть, и на зиму устроилась не хуже муравья. А «Музыкантов» я совсем не понимаю. Неужели непременно нужно быть пьяницей, чтобы хорошо играть, например, на скрипке?

Ученье приближалось к концу, а ребяческая рассудительность не оставляла ее.

Тетрадки ее были в порядке; книжки чисты и не запятнаны. У нее была шкатулка, которую подарила ей сама maman (директриса института) и в которой лежали разные сувениры. Сувениров было множество: шерстинки, шелковинки, ленточки, цветные бумажки, и все разложены аккуратно, к каждому привязана бумажка с обозначением, от кого и когда получен.

— Со временем у нее разовьются отличные педагогические способности, — говорили о ней классные дамы, — она аккуратна, точна в исполнении обязанностей, никогда не позволит себе отступить от правил. Вот только чересчур добра... даже рассердиться не умеет!

Она и сама прозревала, что в будущем ей предстоит педагогическая карьера; но иногда ей казалось странным, что ей ставят в упрек ее доброту. Напротив, она думала, что доброта обуздывает гораздо скорее, нежели строгость.

«Вот Клеопатра Карловна добрая, — рассуждала она, — и при ней все девицы ведут себя отлично; а Катерина Петровна строгая — ей все стараются назло сделать. С месяц назад новое платье ей испортили, — так и не догадалась, кто сделал».

Несмотря на приближение 18-ти лет, сердце ее ни разу не дрогнуло. К хорошеньким и богатеньким девицам уже начали перед выпуском приезжать в приемные дни, под именами кузенов и дяденек, молодые люди с хорошенькими усиками и с целыми ворохами конфект. Она не прочь была полюбоваться ими и даже воскликнуть:

— Ах, какой херувим!

Но в этом восклицании не слышалось ничего, кроме обычного институтского жаргона, который так и оставался жаргоном.

— Это князь Бесхвостый, — говорила ей подруга, которую молодой князь удостоивал своим вниманием (разумеется, с разрешения родителей).

— Ах, счастливица!

— Нравится он тебе?

— Божественный! херувим!

Иногда «счастливица» позволяла себе слегка посмеяться над Лидочкой.

— А знаешь ли, душка, — говорила она, — что ты произвела на князя очень большое впечатление?

— Ах, что ты! проказница! Ты посмотри на меня, какая я... Ну, под стать ли я такому херувиму!

Она говорила это без всякой тени досады, просто и откровенно, совершенно уверенная, что праздничная сторона жизни никогда не будет ее уделом.

Наконец наступил день выпуска, и Лидочке предложили остаться при институте в качестве пепиньерки. Разумеется, она согласилась. Счастливые институтки, разодетые по-городскому, плакали, расставаясь с нею.

— Ах, Лидочка, я упрошу maman тебя на лето к нам в деревню взять! — говорила одна.

— Ах, какая ты добрая!

— Ты, Лидочка, к нам по воскресеньям обедать приходи! — говорила другая.

— Милые вы мои!

Кареты с громом отъезжали от подъезда. Лидочка провожала глазами подруг, которые махали ей платками. Наконец уехала последняя карета.

Дверь швейцарской захлопнулась. Лидочка вновь погрузилась в институтскую тишину.

— Лидочка! Вам жаль старых подруг? — спрашивали ее.

— Ах, даже очень, очень жаль!

— Вы завидуете им?

— Я не имею права завидовать. Я всегда понимала,

что им предстоит одна дорога, а мне — другая. И могу только благодарить моих покровителей, что они не оставляют меня.

— Но ведь скучно в институте?

— Мне не скучно. Но ежели бы и было скучно, то надо же кому-нибудь и скучать. Притом же я, с позволения maman, буду иногда выходить в город. И я уверена, что подруги свидятся со мной без неудовольствия.

В первое воскресенье она, однако ж, посовестилась тревожить подруг. «Им не до меня, — сказала она себе, — они теперь по родным ездят, подарки получают, покупают наряды!» Но на другое воскресенье отважилась. Надела высокий, высокий корсет, точно кирасу, и с утра отправилась к Настеньке Буровой.

Было уже одиннадцать часов, но Настенька еще нежилась в постели. Разумеется, она была очень рада приходу Лидочки.

— Ты очень хорошо сделала, что пораньше приехала, — сказала она, — а то мы не успели бы наговориться. Представь себе, у меня целый день занят! В два часа — кататься, потом с визитами, обедаем у тети Головковой, вечером — в театр. Ах, ты не можешь себе представить, как уморительно играет в Михайловском театре Верне́!

— Ну, вот и прекрасно, что ты не скучаешь!

— Постой, душечка, я тебе свой trousseau[1] покажу!

И начала раскладывать одно за другим платья, блузы, принадлежности белья и проч. Все было свежо, нарядно, сшито в мастерских лучших портных. Лидочка осматривала каждую вещицу и восхищалась. Восхищалась объективно, без всякого отношения к самой себе. Корсет ровно вздымался на груди ее в то

---

[1] приданое *(франц.)*.

время, как с ее языка срывались: «Ах, душка!», «ах, очарованье!», «ах, херувим!».

—Хочешь, я тебе эту ленту подарю? — вдруг вздумалось Настеньке.

— Подари!

— Впрочем... знаешь ли что? Я лучше в другой раз — прежде у мамаши спрошу!

— И прекрасно сделаешь! Это первый наш долг — спрашиваться у родителей.

В будуар к Настеньке вошла кисло-сладкая дама и пожала Лидочке руку. Это была maman Бурова.

— Любуетесь? — спросила она.

— Прелесть! очарование!

— Да, но и не дешево это стоит.

— Я воображаю!

— Maman! мне хотелось бы Лидочке вот эту ленту подарить! Посмотри, как к ней это идет!

Настенька обернула ленту кругом Лидочкиной талии и сделала спереди бант.

— Charmant![1] — крикнула она в восхищении.

Но maman не ответила ни да, ни нет, а только сказала дочери:

— Какой ты, мой друг, еще ребенок! — И, обратившись к Лидочке, прибавила: — Вы к нам? Ах, как жаль, что у нас сегодня целый день занят! Но в другой раз...

— Ничего, у меня свой дом в институте есть...

— Знаешь ли что, — догадалась Настенька, — поезжай к Верховцевым; я знаю, что они сегодня дома.

— А и то — пойти к ним. Верочка тоже меня приглашала...

— Только вы нас уж, пожалуйста, извините! — повторила maman Бурова.

---

[1] Прелестно! *(франц.)*

— Ах, что вы! Разве я не понимаю!

Верховцевы сходили по лестнице, когда Лидочка поднималась к ним. Впрочем, они уезжали не надолго — всего три-четыре визита, и просили Лидочку подождать. Она вошла в пустынную гостиную и села у стола с альбомами. Пересмотрела все — один за другим, а Верховцевых все нет как нет. Но Лидочка не обижалась; только ей очень хотелось есть, потому что институтский день начинается рано, и она, кроме того, сделала порядочный моцион. Наконец, часов около пяти, Верочка воротилась.

— Как ты отлично сделала, что к нам собралась! — крикнула она, бросаясь на шею к подруге.

— Жаль только, что мы в театр сегодня собрались, — молвила maman Верховцева.

— Maman! возьмем Лидочку с собою! Лидочка! сегодня ведь «L'amour — qu'est qu'c'est qu'ça?»[1] играют! Уморительно!

— С большим удовольствием, — согласилась maman, — но Лидии Степановне придется сесть сзади...

— Так что ж такое! разве я не понимаю!

Дни шли за днями, а подруги не забывали ее. Нередко приезжали в институт, осматривали знакомые комнаты и засаживались на четверть часа в каморке у старой товарки. В среде их уже устраивались свадьбы, и редкая забыла сделать Лидочку участницей своего счастия. Бедная пепиньерка являлась в своей кирасе и в горохового цвета шелковом платье, которое сослужило ей хорошую службу. Потом пошли родины, крестины — сироту всюду звали, а во время девятидневного родильного карантина она почти безвыходно сидела около родильницы — разумеется, с позволения институтской maman.

---

[1] «Любовь — что это такое?» *(франц.)*

Однажды Настенька Бурова сообщила ей, что Верочка Верховцева, только два месяца тому назад вышедшая замуж, уж «дурно ведет себя»; но Лидочка взглянула так удивленно, что Настенька расхохоталась.

— Ах, какая ты уморительная! — смеялась она, — еще Верочка ничего, а на днях Alexandrine Геровская бросила мужа и прямо переехала к своему гусару.

— Неужто начальство это позволяет?

Некоторые из товарок пытались даже расшевелить ее. Давали читать романы, рассказывали соблазнительные истории; но никакой соблазн не проникал сквозь кирасу, покрывавшую ее грудь. Она слишком была занята своими обязанностями, чтобы дать волю вооображению. Вставала рано; отправлялась на дежурство и вечером возвращалась в каморку хотя и достаточно бодрая, но без иных мыслей, кроме мысли о сне.

Мало-помалу круг старых подруг сократился. Лидочка все реже и реже отлучалась из института в город и почти все время свое отдавала маленьким институткам, которые ей были поручены. Вследствие беспрерывного общения с малолетними, в нее все глубже и глубже впивалась складка ребячества. И радости и горести ее были совершенно те же, что и у десяти-двенадцатилетних девочек, которые кишели вокруг нее. Вся разница между нею и ими заключалась в том, что она в течение целого дня не покидала своей кирасы. Посторонние начинали находить, что с нею скучно. Но она радовалась, что пичужки любят ее, что начальство довольно, и все реже и реже пользовалась отпуском в город, хотя гороховое платье еще было как новое.

Она была деятельна и неутомима только при исполнении своих обязанностей; вне этого круга она могла

назваться даже ленивою. Ничто не манило ее за стены института. Старые подруги рассеялись, новых выпускных девиц, которых она могла бы назвать своими воспитанницами, еще не было.

Воспитательная репутация ее все росла и росла; ее уже подумывали сделать классной дамой. Однажды приехал в институт вновь назначенный начальник и сказал ей:

— Вся русская армия чтит память покойного вашего батюшки, а батальон, которым он командовал, и поныне считается образцовым. Очень рад слышать, что вы идете по стопам достославного отца своего.

Эта похвала несколько взволновала ее. Она подумала, что и папаша и тетя смотрят на нее в эту минуту с высот небесных и радуются, что она так отлично устроилась. В самом деле, у нее был свой уголок с стоящими на окнах лимонными и апельсинными деревцами, которые она сама вырастила из семечек; у нее был готовый стол; воспитанницы любили ее, начальство ею дорожило — чего еще надо сиротке? К довершению всего, корсет, который она носила, оказался так прочно сшит, что в течение десяти лет не потребовал ни малейшей починки. И деньги у нее водились; а так как ей решительно некуда было тратить их, то, вместе с сбережениями, образовался уж капитал около шести тысяч рублей. Она решилась завещать его на учреждение одной или двух стипендий в том институте, который дал ей приют.

Однажды только она не на шутку взволновалась: ей приснился муж Машеньки Гронмейер, «херувим» с маленькими усиками и в щегольском сюртучке, которого она, еще будучи институткой, видела в приемные дни в числе посетителей. Фамилия его была Копорьев, и Лидочка, по окончании курса, довольно часто посещала старую подругу. Никогда она не давала себе

отчета, какого рода чувства возбуждал в ней Копорьев, но, вероятно, у нее вошло в привычку называть его «херувимом», потому что это название не оставляло его даже тогда, когда «херувим» однажды предстал перед нею в вицмундире и с Анной на шее. В этом же виде он и приснился ей. Разумеется, она ни на минуту не поколебалась. Отперла заветную шкатулку, вынула оттуда старую перчатку Копорьева и бросила ее в топившуюся печку. С тех пор все как рукой сняло.

Никогда она не думала о выходе в замужество, никогда. Даже мимолетом не залетала эта мысль в ее голову, словно этот важнейший шаг женской жизни вовсе не касался ее.

Чем более погружалась она в институтскую мглу, тем своеобразнее становилось ее представление о мужчине. Когда-то ей везде виделись «херувимы»; теперь это было нечто вроде стада статских советников (и выше), из которых каждый имел надзор по своей части. Одни по хозяйственной, другие — по полицейской, третьи — по финансовой и т. д. А полковники и генералы стоят кругом в виде живой изгороди и наблюдают за тем, чтобы статским советникам не препятствовали огород городить.

Когда ей было уже за тридцать, ей предложили место классной дамы. Разумеется, она приняла с благодарностью и дала себе слово сделаться достойною оказанного ей отличия. Даже старалась быть строгою, как это ей рекомендовали, но никак не могла. Сама заводила в рекреационные часы игры с девицами, бегала и кружилась с ними, несмотря на то, что тугой и высокий корсет очень мешал ей. Начальство, видя это, покачивало головой, но наконец махнуло рукой, убедясь, что никаких беспорядков из этого не выходило.

Из класса в класс переходила она с «своими» девицами и радовалась, что наконец и у нее будет свой

собственный выпуск, как у Клеопатры Карловны. Перед выпуском опять стали наезжать в приемные дни «херувимы»; но разница в ее прежних и нынешних воззрениях на них была громадная. Во дни оны она чувствовала себя точно причастною этому названию; теперь она употребляла это выражение совершенно машинально, чтоб сказать что-нибудь приятное девице, которую навещал «херувим».

Наконец день первого *ее* выпуска наступил. Красивейшая из девиц с необыкновенною грацией протанцевала па-де-шаль; другая с чувством прочла стихотворение Лермонтова «Спор»; на двух роялях исполнили в восемь рук увертюру из «Фрейшютц»; некрасивые и малоталантливые девицы исполнили хор из «Руслана и Людмилы». Родители прослезились и обнимали детей.

Наконец наступил час расставания. Как и при собственном выходе из института, Лидия Степановна стояла в швейцарской и провожала уезжавших.

— Прощайте, божественная! небожительница! — кричали ей девицы, усаживаясь в кареты,— не забудьте! приезжайте!

— Непременно! непременно! — отвечала она им вслед.

Она махала платком, и ей махали платками из карет.

Вместе с нею стояла в швейцарской выпущенная институтка и плакала. Она тоже кончила курс, но была сирота, и ей предложили остаться при институте пепиньеркой.

— Вот и вы, Любочка, обрели тихое пристанище, — молвила плачущей Лидия Степановна.

Затем взяла ее под руку, и обе стали взбираться вверх по лестнице.

— Вы не плачьте, — утешала старшая сирота младшую, — здесь тихо... спокойно... точно в колыбели

качаешься... Вам отведут комнату, и вы можете сидеть в ней и думать. Я тоже сидела и думала, но скоро успокоилась, и вам то же советую. Что мы такое? Мы — предназначенные судьбою вечные институтки. Институт наложил на нас свою печать, и эта печать будет лежать на нас до старости. Это хорошо, потому что иначе нельзя было бы жить. Вот придет весна, распустятся аллеи в институтском саду; мы будем вместе с вами ходить в сад во время классов, станем разговаривать, сообщать друг другу свои секреты... Право, судьба еще не так жестока, как кажется!

Около этого времени ее постигло горькое испытание: умерла старая директриса института. Горе едва не подавило ее, но она, как и по случаю смерти тетки, вступила с ним в борьбу и вышла из нее с честью.

— Бог знает, что делает, — сказала она себе, — он отозвал к себе нашу добрую maman — стало быть, она нужна была *там*. А начальство, без сомнения, пришлет нам новую maman, которая со временем вознаградит нас за горькую утрату.

И действительно, через месяц явилась новая maman, и Лидия Степановна полюбила ее, как старую.

. . . .

Теперь ей уж за сорок, и скоро собираются праздновать ее юбилей. В парадные дни и во время официальных приемов, когда показывают институт влиятельным лицам, она следует за директрисой, в качестве старшей классной дамы, и всегда очень резонно отвечает на обращаемые к ней вопросы. В будущем она никаких изменений не предвидит, да и никому из начальствующих не приходит на мысль, что она может быть чем-нибудь иным, кроме образцовой классной дамы.

Корсет она, однако ж, переменила. Прежде всего старый обветшал, а наконец, она сама потучнела, и

тело сделалось у нее грубое, словно хрящеватое. Но и тут она отказалась следовать моде и сделала себе корсет такой же высокий и жесткий, как кираса.

— Довольны вы? — спрашивал я ее на днях, встретивши ее у одной из ее питомок, молоденькой дамы, которая очень недавно связала себя узами гименея.

— И даже очень, — ответила она мне, — вспомните, ведь я сирота, и институт дал мне приют... Разве я этого не понимаю?

ПОРТНОЙ ГРИШКА

Так, по крайней мере, все его в нашем городе звали, и он не только не оставался безответен, но стремглав бежал по направлению зова. На вывеске, прибитой к разваленному домишке, в котором он жил, было слепыми и размытыми дождем буквами написано: «Портной Григорий Авениров — военный и партикулярный с Москвы».

Происхождением был он из дворовых людей и отдан с десятилетнего возраста в учение к славившимся тогда московским портным Шиллингу и Тёпферу. Здесь он долгое время присматривался: таскал утюги, бегал в трактир за кипятком для настоящих портных, терпел потасовки, учился скверным словам, пил потихоньку вино и т. д. Словом сказать, проделал всю школу ученика. Пятнадцати лет ему дали иглу в руки, и он, глядя на других, учился шить на лоскутках. Сшивал, распарывал и опять сшивал, покуда наконец не дали ему подметывать. А через год — посадили на верстак, и из него образовался уже настоящий портной. Только кроить он не умел (это делали сами хозяева фирмы) и лишь впоследствии самоучкой отчасти дошел до усвоения этого искусства.

Наружность, признаться сказать, он имел неблаго-

видную. Громадная не по росту, курчавая голова с едва прорезанными, беспокойно бегающими глазами, с мягким носом, который всякий считал долгом покомкать; затем, приземистое тело на коротких ногах, которые от постоянного сиденья на верстаке были выгнуты колесом, мозолистые руки — все это, вместе взятое, делало его фигуру похожею на клубок, усеянный узлами. Когда этот клубок катился по улицам (Гришка постоянно отыскивал работишки), то цеплялся за встречных и терпел от них немало колотушек. Ежели прибавить к этому замечательную неопрятность и вечно присущий запах перегорелой сивухи, которым, казалось, было пропитано все его тело, то не покажется удивительным, что прекрасный пол сторонился от Гришки.

В нашем городе, где он устроился тотчас после крестьянского освобождения, он был лучший портной. Но город наш — бедный, и обыватели его только починивались, редко прибегая к заказам нового платья. Один исправник неизменно заказывал каждый год новую пару, но и тут исправничиха сама покупала сукно и весь приклад, призывала Гришку и приказывала кроить при себе.

— И хоть бы она на минутку отвернулась или вышла из комнаты,— горько жаловался Гришка,— все бы я хоть на картуз себе лоскуток выгадал. А то глаз не спустит, всякий обрезок оберет. Да и за работу выбросят тебе зелененькую — тут и в пир, и в мир, и на пропой, и за квартиру плати; а ведь коли пьешь, так и закусить тоже надо. Неделю за ней, за этой парой, просидишь, из-за трех-то целковых!

Один только раз ему посчастливилось: приехавший в город на ревизию губернатор зацепился за гвоздь и оторвал по целому месту фалду мундира. Гришка, разумеется, так затачал, что лучше новой разорванная фалда вышла, и получил пять целковых.

— Вот какой это господин! — рассказывал он потом,— слова не сказал, вынул бумажник, вытащил за ушко вот эту самую синенькую — «вот тебе, братец, за труд!». Где у нас таких господ сыщешь!

Я зазнал Гришку в самый момент разрешения крестьянского вопроса. У меня было подгородное оброчное имение, и так как в нем не существовало господской усадьбы, то я поневоле поселился на довольно продолжительное время в городе на постоялом дворе, где и устраивал сделки с крестьянами. Жил я, впрочем, не сплошь, а в течение двух лет, покуда длилось мое дело, то уезжал, то возвращался. В новой одежде я не нуждался, но «починиваться», от времени до времени, все-таки приходилось, и Гришка довольно часто навещал меня и по делу и без дела.

Жил он со своими стариками, отцом и матерью, которых и содержал на свой скудный заработок. Старики были пьяненькие и частенько-таки его поколачивали. Вообще он очень жаловался на битье, которое составляло главное содержание и язву его жизни. Колотили его и дома, и вне дома; а ежели не колотили, то грозили поколотить. Он торопливо перебегал на другую сторону улицы, встречая городничего, который считал как бы долгом погрозить ему пальцем и промолвить: «Погоди! не убежишь! вот ужо!» Исправник — тот не грозился, а прямо приступал к делу, приговаривая: «Вот тебе! вот тебе!» — и даже не объясняя законных оснований. Даже купец Поваляев, имевший в городе каменные хоромы,— и тот подводил его к зеркалу, говоря: «Ну, посмотри ты на себя! как тебя не бить!»

И затем ухватывал жирными пальцами его за нос и комкал.

— И кабы я в чем-нибудь был причинен! — негодовал Гришка,— ну, тогда точно... ну, стою того, так стою... А то, поверите ли, всякий маль-

чишка-клоп, и тот норовит дать тебе мимоходом туза! Спроси́те: за что́?!

Как я уже сказал выше, ко мне он ходил часто. Сначала посидит в стряпущей с прислугой, а потом незаметно проберется в мою комнату и стоит, притаившись, в дверях, пока я сам не заговорю.

— Ну, что новенького? — спросишь его.

— Да вот, работишки бы...

— Рад бы, да нет.

— Я и сам думал, что нет. Прислали бы, кабы была. А как бы я живо! Да что, сударь, я пожаловаться вам хочу...

И начнет, и начнет. И почти всегда битье составляло главную тему его россказней. Таким образом, помаленьку, урывками, рассказал он мне свое горевое житье с самых младенческих лет.

— Вы как думаете, кто был мой отец? — говорил он,— старшим садовником он был у господина Елпатьева. Кабы вина не пил, так озолотил бы его — вот какой это был человек! Какие у нас ранжереи были! сколько фрухтов, цветов! И все он причиной. Бывало, призовет его барин: «Чтоб были у меня, Дементьич, на Ивана-крестителя — он 24-го июня именины праздновал — персики!» И были-с. Большая, сударь, тут наука нужна. Раньше ставни в ранжерее открыть, раньше протапливать начать, да чтобы не засушить или не залить — вот тогда и будут ранние персики! А потом барыня Наталья Кирилловна призовет: «Чтоб были у меня 26-го августа вишни!» И были-с! У других об вишнях уж и забыли, а у нас Дементьич в конце августа, бывало, подаст столько, что господа съедутся да только ахают. Отца-то моего у господина Елпатьева князь один торговал, тысячу рублей посулил да поваренка в придачу,— так барин даже на такие деньги не польстился. А теперь вот и даром пришлось отпустить...

— Так отчего же бы старику не остаться у прежнего помещика?

— И сами теперь об этом тужим, да тогда, вишь, мода такая была: все вдруг с места снялись, всей гурьбой пошли к мировому. И что тогда только было — страсть! И не кормит-то барин, и бьет-то! Всю, то есть, подноготную разом высказали. Пастух у нас жил, вроде как без рассудка. Болона́ у него на лбу выросла, так он на нее все указывал: болит! А господин Елпатьев на разборку-то не явился. Ну, посредник и выдал всем разом увольнительные свидетельства.

— А били-таки вас?

— Это так точно-с. Да ведь и теперь, вашескородие, управа-то на нашего брата одна... По крайности, как были крепостные, так знали, что *свой* господин бьет, а нынче всякий, кому даже не к лицу, и тот тебе скулу своротить норовит. А сверх того, и голодом донимают: питаться нужно, а работы нет. Ушел бы в Москву, да куда я со стариками, с своей слабостью, там поспел! Мы уж и сами потом хватились, что не про всех местов припасено,— да поздно. Шибко рассердился тогда Иван Савич на нас; кои потом и прощенья просили, так не простил: «Сгиньте, говорит, с глаз моих долой!» И что ж бы вы думали? какие были «заведения» — и ранжереи, и теплицы, и грунтовые сараи — все собственной рукой сжег! «Не доставайся, говорит, ни черту, ни дьяволу!» А наконец велел заложить коляску, забрал семейство — только его и видели!

— Вы-то сами где жили, когда объявили волю?

— Я в Москве по оброку ходил. Да что моя, сударь, за жизнь — только слава! С малых лет все в колотушках да в битье. Должно быть, несуразный я отроду вышел, что даже отец родной — и тот меня не жалел. Матушка еще поначалу сколько-нибудь снисходила, а потом и она — видит, что все бьют,— и она стала бить.

Оттого и росту у меня настоящего нет. Сколько раз меня господин Елпатьев в рекруты ставил — не принимают, да и шабаш! Приказчик у нас был,— так тот, бывало, позеленеет весь, как меня из рекрутского присутствия обратно привезут, и первым долгом — колотить.— За что ж, мол, вы, Ефим Семеныч, меня бьете? Разве я причинен? Я даже с радостью в солдатах послужить готов! — «Тебя-то, говорит, не бить! да тебя, как клопа, раздавить нужно!»

Высказавши все это, он на минуту закручинится и опять начнет:

— А я все-таки барскую ласку помню. Понадобится, бывало, барину новая пара или барчукам мундирчики новые — сейчас: выписать из Москвы Гришку! И шью, бывало, месяц и два, и три, спины не разгибаю, покуда весь дом не обошью. Со всяким лоскутком всё ко мне: даже барыня: «Сшей, Гришка, мне кальсоны!» — и не стыдилась, при моих глазах примеривала. «Ты, говорит, Гришка, и не человек совсем: при тебе и стыдиться нельзя...» Такая, сударь, у нас барыня была — бедовая! верхом по-мужски на лошади ездила! Кончу свое дело, зачтут что следует в оброк, полтинник в зубы на дорогу и ступай на все четыре стороны. А в Москве между тем место твое уже занято. Шляешься неделю-другую, насилу устроишься!

— В чем же тут ласка была?

— Как же, сударь, возможно! все-таки... Знал я, по крайней мере, что «свое место» у меня есть. Непозадачится в Москве — опять к барину: режьте меня на куски, а я оброка добыть не могу! И не что́ поделают. «Ах ты, расподлая твоя душа! выпороть его!» — только и всего. А теперь я к кому явлюсь? Тогда у меня хоть церква своя, спас-преображенья, была — пойду в воскресенье и помолюсь.

— Все-таки, по-моему, на воле вам лучше живется!

— Известно, как же возможно сравнить! Раб или вольный! Только, доложу вам, что и воля воле рознь. Теперича я что хочу, то и делаю; хочу — лежу, хочу — хожу, хочу — и так посижу. Даже задавиться, коли захочу,— и то могу. Встанешь этта утром, смотришь в окошко и думаешь! теперь шалишь, Ефим Семенов, рукой меня не достанешь! теперь я сам себе господин. А ну-тко ступай, «сам себе господин», побегай по городу, не найдется ли где дыра, чтобы заплату поставить, да хоть двугривенничек на еду заполучить!

— Неужто до того дошло?

— А как бы вы, сударь, думали? Мудреное это дело — воля! Кабы дали мне волю, да при сем капитал — и я бы распорядиться сумел! А то вышли мы в те поры, дворовые, на улицу; и направо, и налево глядим, а что такое случилось — понять не можем. Снялись со старого места, идем вперед, а впереди-то все не наше, ни до чего коснуться нельзя. Вам, сударь, и денька прожить не приводилось, чтобы в свое время вы не позавтракали, не пообедали, чайку не накушались,— а мы целый месяц Христовым именем колотились, покуда наконец кой-как да коё-как не пристроились.

— Да ведь в таком большом деле и всегда так. Не вы одни терпели, а и крестьяне и помещики...

— Это что говорить! Знаю я и помещиков, которые... Позвольте вам доложить, есть у нас здесь в околотке барин, Федор Семенович Заозерцев прозывается, так тот еще когда радоваться-то начал! Еще только слухи об воле пошли, а он уже радовался! «Теперь, говорит, вольный труд будет, а при вольном труде земля сам-десят родить станет». И что же, например, случилось: вольный-то труд пришел, а земля и совсем родить перестала — разом он в каких-нибудь полгода прогорел!

— Так вот видите ли! Я и говорю, что не вы одни...

— Только он, не будь прост, сейчас же в Петербург уехал, к тетеньке, да к дяденьке, да к сестрицам — те ему живо место оборудовали. Жалованье хорошее, а впереди ждет еще лучше — живет да посвистывает. Эх, кабы мне кто-нибудь жалованье положил — кажется, я бы по смерть тому человеку половину отдавал...

Вдоволь нажаловавшись, он уходил, с тем чтобы через короткое время опять воротиться и опять начать целую серию жалоб. Видимо, это облегчало его, наполняя праздное время и давая пищу праздному уму. Когда обида составляет единственное содержание жизни, когда она преследует человека, не давая ни минуты отдыха, тогда она, без всякой с его стороны преднамеренности, проникает во все закоулки сердца, наполняет все помыслы. Язык не может произносить иных слов, кроме жалобы, как будто самое формулирование этой жалобы уже представляет облегчение.

— А вот позвольте мне рассказать, как меня в мальчиках били,— говаривал он мне,— поступил я с десяти лет в ученье и с первой же, можно сказать, минуты начал терпеть. Видеть меня никто не мог, чтоб не надругаться надо мной. С утра до вечера все в работе находишься: утюги таскаешь, воду носишь; за пять верст с ящиками да с корзинками бегаешь — и все угодить не можешь. Хозяева ременною плетью бьют; мастера всякие тиранства выдумывают. Бывало, позовет мастер: «Давно я у тебя, Гришка, масла не ковырял!» — поймает это за волосы и начнет ногтем большого пальца в голове ковырять! Голова, уши, нос — завсегда в болячках были... Даже теперь голову ломит и в ушах звон стоит, коли к погоде... И все-таки жив-с!

— Ну, что об этом вспоминать... ведь зажило!

— Нет-с, не зажило, и не может зажить... Ах,

кабы мне... вот хоть бы чуточку мне засилия... кажется бы, я...

Он не досказывал своей мысли и умолкал.

— Ничего бы вы не поделали, да и поделать не можете. Вот кабы вы пить перестали — это было бы дельнее.

— И этому я еще в учениках научился. Принесешь, бывало, мастерам полштоф, первым делом: «Цо́пнем, Гришка!» И хоть отказывайся, хоть нет, разожмут зубы и вольют, сколько им на потеху надобно. А со временем и сам своей охотой начал потихоньку цопать. Цопал-цопал, да и дошел до сих мест, что и пересилить себя не могу.

— А вы пересильте; скажите себе: с нынешнего дня не буду пить — и баста!

— Говорить-то по-пустому все можно. Сколько раз я себе говорил: надо, брат Гришка, с колокольни спрыгнуть, чтобы звания, значит, от тебя не осталось. Так вот не прыгается, да и все тут!

— Зачем с колокольни прыгать! Мы жизнью своею распоряжаться не вольны. Это, любезный друг, и в законах предусмотрено!

— А что же со мной закон сделает, коли от меня только клочья останутся? Мо́чи моей, сударь, нет; казнят меня на каждом шагу — пожалуй, ежели в пьяном виде, так и взаправду спрыгнешь... Да вот что я давно собираюсь спросить вас: большое это господам удовольствие доставляет, ежели они, например, бьют?..

— То есть как же это «бьют»?

— Да вот, например, как при крепостном праве бывало. Призовет господин Елпатьев приказчика: «Кто у тебя целую ночь песни орал?» И сейчас его в ухо, в другое... А приказчик, примерно, меня позовет. «Ты, черт несуразный, песни ночью орал?» И, не дождавшись ответа, тоже — в ухо, в другое... Сладость, что ли, какая в этом битье есть?

— Не думаю. Битье вообще не удовольствие; это движение гнева, выраженное в грубой и отвратительной форме,— и только. Но почему же вы именно о «господах» спрашиваете? ведь не одни господа дерутся; полагаю, что и вы не без греха в этом отношении...

— Известно, промежду себя... Да ведь одно дело — драться, другое — бить. Например, господин бьет приказчика, приказчик — меня... Мне-то кого же бить?

— Зачем же вам бить? вообще это скверно. И что это вам вдруг вздумалось завести этот разговор?

— Да так-с. Признаться сказать, вступит иногда этакая глупость в голову: все, мол, кого-нибудь бьют, точно лестница такая устроена... Только тот и не бьет, который на последней ступеньке стоит... Он-то и есть настоящий горюн. А впрочем, и то сказать: с чего мне вдруг взбрелось... Так, значит, починиться не желаете?

— Нечего чинить-то.

— Ну, на нет и суда нет. А я вот еще что хочу вас спросить: может ли меня городничий без причины колотить? Есть у него право такое?

— Ни без причины, ни с причиной колотить не дозволяется. Городничий может под суд отдать, а там как уж суд посудит.

— Стало быть, и с причиной бить нельзя? Ну, ладно, это я у себя в трубе помелом запишу. А то, призывает меня намеднись: «Ты, говорит, у купца Бархатникова жилетку украл?» — Нет, говорю, я отроду не воровал. «Ах! так ты еще запираться!» И начал он меня чесать. Причесывал-причесывал, инда слезы у меня градом полились. Только, на мое счастье, в это самое время старший городовой человека привел: «Вот он — вор, говорит, и жилетку в кабаке сбыть хотел...» Так вот каким нашего брата судом судят!

— Ну, и что же потом?

— Помилуйте! даже извинился-с! «Извини, говорит, голубчик, за другой раз зачту!» Вот он добрый какой! Так меня это обидело, так обидело! Иду от него и думаю: непременно жаловаться на него надо — только куда?

— Как куда? Купите лист гербовой бумаги, да и пошлите губернатору просьбу.

— Вот оно как: гербовый лист купить надо, а где купило-то взял? да кто мне и просьбу-то напишет... вот кабы вы, сударь!

— Нет, мне неловко. Я ведь бываю у городничего, в карты иногда вместе играем... Да и вообще... На «писателей»-то, знаете, не очень дружелюбно посматривают, а я здесь человек приезжий. Кончу дело и уеду отсюда.

— Это так точно-с. Кончите и уедете. И к городничему в гости, между прочим, ездите — это тоже... На днях он именинник будет — целый день по этому случаю пированье у него пойдет. А мне вот что на ум приходит: где же правду искать? неужто только на гербовом листе она написана?

— Гербовый лист — сам по себе, а правда — сама по себе. Гербовый лист — это пошлина. Не на правду пошлина, а чтобы казне доход был. Кабы пошлины не было, со всякими бы пустяками начальство утруждали, а вот как теперь шесть гривенок надо за лист заплатить — ну, иной и задумается.

— Шесть гривен! где эко место денег взять! А все-таки правду хотелось бы сыскать. Намеднись господин Поваляев мял-мял мне нос, а я ему и говорю: «Вот вы мне нос мнете, а я от вас гривенника никогда не видал — где же, мол, правда, Василий Васильевич?» А он в ответ: «Так, вот оно ты об чем, бубновый валет, разговаривать стал! Правды захотелось... ах! Да знаешь ли ты, что тебя за такой разговор в тартарары

сослать надо!» — да пуще, да пуще! Мы, вашескородие, когда не хмельны, так соберемся иногда — старики мои, я да вот хозяин наш — и всё об правде говорим. Была же она когда-нибудь на свете, коли слово такое есть. Хоть при сотворении мира, да была. Должно быть, и теперь есть, только чиновники ее в шкап заперли. Отдай шесть гривен — шкап приотворят,— смотришь, а там пусто!

— Не говорите так. Неравно услышат — нехорошо будет.

— Чего мне худого ждать! Я уж так худ, так худ, что теперь со мной что хочешь делай, я и не почувствую. В самую, значит, центру попал. Однажды мне городничий говорит: «В Сибирь, говорит, тебя, подлеца, надо!» А что, говорю, и ссылайте, коли ваша власть; мне же лучше: новые страны увижу. Пропонтирую пешком отселе до Иркутска — и чего-чего не увижу. Сколько раз в бегах набегаюсь! Изловят — вздуют: «влепить ему!» — все равно как здесь.

— Однако вы таки отчаянный!

— Не отчаянный, а до настоящей точки дошел. Идти дальше некуда, все равно, где ни быть. Начальство бьет, родители бьют, красные девушки глядеть не хотят. А ведь я, сударь, худ-худ, а к девушкам большое пристрастие имею. Кабы полюбила меня эта самая Феклинья, хозяина нашего дочь,— ну, кажется бы, я... И пить бы перестал, и все бы у меня по-хорошему пошло, и заведеньице бы открыл... Только ничего от нее я другого не слышу, окромя: «Уйди ты, лохматый черт, с моих глаз долой!» А впрочем, надоел я, должно быть, вам своей болтовней?..

— Ничего. Только мне идти надо.

— К городничему-с? Счастливо оставаться, сударь! дай бог любовь да совет! в карточки сыграете — с выигрышем поздравить приду!..

Однажды он прибежал ко мне в величайшем волнении.

— Хочу я вас спросить, сударь,— сказал он,— есть такие права, чтобы взрослого человека розгами наказывать?

— Говорил уж я вам, что таких прав давно не существует.

— А меня, между прочим, даже сегодня наказали. Мне об рождестве тридцать пять лет будет, а меня высекли.

— Кто же? за что?

— Родитель высек. Привел меня — а сам пьяный-распьяный — к городничему: «Я, говорит, родительскою властью желаю, чтоб вы его высекли!» — «Можно,— говорит городничий: — эй, вахтер! розог!» — Я было туда-сюда: за что, мол? «А за неповиновение,— объясняется отец,— за то, что он нас, своих родителей, на старости лет не кормит». И сколь я ни говорил, даже кричал — разложили и высекли! Есть, вашескородие, в законе об этом?

— Не знаю, право. Человек вы какой-то особенный; только с вами такие дела и случаются. Никакой закон не подходит к вам.

— И то особенный я человек, а я что же говорю! Бьют меня — вся моя особенность тут! Побежал я от городничего в кабак, снял штаны: «Православные! засвидетельствуйте!» — а кабатчик меня и оттоле в шею вытолкал. Побежал домой — не пущают!

— И домой не пускают?

— Да, и домой. Сидят почтенные родители у окна и водку пьют: «Проваливай! чтоб ноги твоей у нас не было!» А квартира, между прочим, — моя, вывеска на доме — моя; за все я собственные деньги платил. Могут ли они теперича в чужой квартире дебоширствовать?

Я решительно недоумевал. Может ли городничий

выпороть совершеннолетнего сына по просьбе отца? Может ли отец выгнать сына из его собственной квартиры? — все это представлялось для меня необыкновенным, почти похожим на сказку. — Конечно, ничего подобного не должно быть, говорил здравый смысл, а внутреннее чувство между тем подсказывало: отчего же и не быть, ежели в натуре оно есть?..

— И добро бы я не знал, на какие деньги они пьют! — продолжал волноваться Гришка, — есть у старика деньги, есть! Еще когда мы крепостными были, он припрятывал. Бывало, нарвет фруктов, да ночью и снесет к соседям, у кого ранжерей своих нет. Кто гривенничек, кто двугривенничек пожертвует... Разве я не помню! Помню я, даже очень помню, как он гривенники обирал, и когда-нибудь все на свежую воду выведу! Ах, сделай милость! Сами пьют, а мне не только не поднесут, даже в собственную мою квартиру не пущают!

Гришка с каждой минутой все больше и больше свирепел. Как на грех, в это время совсем неожиданно посетил меня городничий. У Гришки даже кровью глаза налились при его появлении.

— Вот и господин говорит, — бросился он к нему,— что вы не только без причины, а и с причиной драться не смеете! А вы, между прочим, высекли меня! ах!

И вдруг он, к моему ужасу, начал наскакивать на городничего. Прыгает кругом, словно совсем и страха лишился, так что добрый старик даже сконфузился.

— Вон! — крикнул он, потрясая палкой, на которую опирался по причине раны в ноге, — м-м-мерзавец!

— Нет, я не «вон» и не «мерзавец», а вы вот при господине объясните, какое такое право имели вы меня высечь?

— Отец высек, — не я. Отец все над тобой сделать

может: в Сибирь сослать, в солдаты отдать, в монастырь заточить... Ты его не кормишь, расподлая твоя душа!

— Так то̀ по суду! в суд он должен подать на меня, в суд! Что присудит суд, то и должен я восполнить — вот и господин это самое говорит. В Сибирь так в Сибирь; на каторгу так на каторгу — по суду мне везде хорошо! А то, вишь, ведь какие права нашли! заманили на съезжую, разложили и выпороли! Нет, нынче уж и мы... нынче и у нас спина... не всякий тоже... Отец!.. ишь ведь какие права нашлись! так что ж что отец! Он меня сотворил — это так! но чтобы... Вот, ей-богу, сейчас пойду, лист гербовой бумаги куплю! не пожалею шести гривен — прямо к губернатору!

Положение мое было критическое. Старик городничий судорожно сжимал левый кулак, и я со страхом ожидал, что он не выдержит, и в присутствии моем произойдет односторонний маневр. Я должен, однако ж, сознаться, что колебался недолго; и на этот раз, как всегда, я решился выйти из затруднения, разрубив узел, а не развязывая его. Или, короче сказать, пожертвовал Гришкой в пользу своего собрата, с которым вел хлебосольство и играл в карты...

— Да не бейте вы его, ради Христа! — обратился я к городничему, когда Гришка исчез.

— Его-то? — изумился старик.

— Да, его. У него ведь свои права...

— У него-то... права!

— Права. Хоть маленькие, но права.

— Да ведь я его по желанию отца высек...

— И от отца вы не вправе были принимать таких заявлений, а обязаны были обратить его к суду.

— Стало быть, и родительская власть... — Позвольте, я вам что расскажу. Я сам — вот как видите — я сам в молодости такой прожженный негодяй

был, что днем с огнем поискать. И карты, и пьянство, и дебош — всего было! Бился-бился отец, вызвал меня из полка в отпуск, и не успел я еще в родительский дом путем войти, как окружили меня в лакейской, спустили штаны, да три пучка розог и обломали об мое поручичье тело... С тех пор — как с гуся вода! В карты — по маленькой; водки — только перед обедом рюмка... баста! Так вот оно что значит родительская-то власть! Помилуйте! да ежели бы я Гришку не учил, так он и город-то у меня давно бы спалил!

Это воспоминание прошлого совершенно успокоило моего гостя. Я заикнулся было возразить ему, но язык не поворотился перед такою невозмутимостью. Навстречу всем возражениям шла самая обыкновенная оговорка: сила вещей. Нигде она не написана, никем не утверждена, не заклеймена, а идет себе напролом и все на пути своем побеждает. Один расскажет, как его секли, другой расскажет, как с него шкуру спустили, — и все убедятся, что иначе не может и быть. Каждый пороется у себя в памяти и непременно какое-нибудь сеченье да найдет... Тут и родители, и заступающие их место, и попечители, и начальники — словом сказать, все, которые и сами были сечены, которых праотцы были сечены и которые ни за что не поверят, услыхав, что сыновья и внуки их не пожелают быть сеченными. До такой степени не поверят, что хоть внезапно, крадучись, а все-таки или себя позволят, на старости лет, высечь, или сами кого-нибудь высекут... И не по злобе, а так, ради выполнения освященного веками педагогического принципа.

В другой раз Гришка прибежал еще более взволнованный.

— А у меня сегодня палатский чиновник был! — объявил он мне.

— Неужели опять про битье будете рассказывать?

— Нет, этот не бил, а пришел и говорит: «Я при-

слан здешние торги проверить; вывеска эта ваша?» — Моя, говорю. — «Вы один занимаетесь мастерством? без учеников?» — Один. — «А имеется у вас свидетельство на мещанские промыслы?» — Какое свидетельство? — «А вот, смотрите!» — вынул из портфеля лист, а на нем написано: цена 2 р. 50 к. — «Уплатите, говорит, деньги и возьмите свидетельство; на первый раз я вас не штрафую!» — Я так и ахнул! — Помилуйте! где же я эко место денег возьму? — «А это, говорит, меня не касается; я закон выполнить должен, а вы как знаете». — А ежели я да не возьму свидетельства? — «Тогда я инструмент ваш запечатаю...» Позвольте у вас спросить, сударь: может он так со мной поступить?

— Не знаю, может быть, закон такой есть. Много нынче новых законов пишут — и не уследишь за всеми! Стало быть, вы теперь с обновкой?

— Помилуйте! где я эстолько денег возьму? Постоял-постоял этот самый чиновник: «Так не берете?» — говорит. — Денег у меня и в заводе столько нет. — «Ну, так я приступлю...» Взял, что на глаза попалось: кирпич истыканный, ниток клубок, иголок пачку, положил все в ящик под верстаком, продел через стол веревку, запечатал и уехал. «Вы, говорит, до завтра подумайте, а ежели и завтра свидетельство не возьмете, то я протокол составлю, и тогда уж вдвойне заплатите!» Вот, сударь, коммерция у меня какова!

— Что ж, делать нечего; приходится взять.

— И я вижу, что приходится, да денег нет. По его, значит, я руки склавши сидеть должен... Где это слыхано! человек работает, а ему говорят: не смей работать, ступай в кабак! Потому что куда ж мне теперь, окромя кабака, идти?

— Да, но согласитесь сами, что и государство с своей стороны... У государства есть потребности: вой-

ско, громадная орава чиновников — нужно все это оплатить! Вот оно и изыскивает предметы... И предметы сии называются предметами обложения. Пора бы вам, кажется, знать.

— И то пора. Только вот, как ни живешь, а все завтрашнего предмета не угадаешь. Сегодня десять предметов — думаешь: будет! — ан завтра — одиннадцатый! И всё по затылку да по затылку — хлобысь! А мы бы, вашескородие, и без предметов хорошохонько прожили бы.

— Верю вам, что без предметов удобнее, да нельзя этого, любезный. Во-первых, как я уже сказал, казне деньги нужны; а во-вторых, наука такая есть, которая только тем и занимается, что предметы отыскивает. Сначала по наружности человека осмотрит — одни предметы отыщет, потом и во внутренности заглянет, а там тоже предметы сидят. Разыщет наука, что следует, а чиновники на ус между тем мотают, да, как наступит пора, и начнут по городам разъезжать. И как только заприметят полезный предмет — сейчас протокол!

— И сколько с нас этих сборов сходит — страсть! И на думу, и на мирское управление, и на повинности, а потом пойдут портомойные, банные, мостовые, училищные, больничные. Да нынче еще мода на монаменты пошла... Месяца не пройдет, чтоб мещанский староста не объявил, что копейки три-четыре в год нового схода не прибавилось. Платишь-платишь — и вдруг: отдай два с полтиной!

— И отдадите.

— Беспременно это купец Бархатников на меня чиновника натравил. Недаром он намеднись смеялся: «Вот ты работаешь, Гришка, а правов себе не выправил». Я, признаться, тогда не понял: это вам, брюхачам, говорю, права нужны, а мы и без правов проживем! А теперь вот оно что оказалось! Беспременно это

его дело! Так, стало быть, завтра в протокол меня запишут, а потом прямой дорогой в кабак!

Однако ж на другой день он навестил меня уже с обновкой. Купец Поваляев дал ему, один за другим, сто щелчков в нос и за это внес требуемую пошлину.

И тут, стало быть, дело не обошлось без битья.

Один только раз Гришка пришел ко мне благодушный, как будто умиротворенный и совсем трезвый. Он только что воротился из «своего места», куда ходил на престольный праздник Спаса преображения.

— Ушли мы отсюда накануне праздника, чуть свет, — рассказывал он мне, — косушку вина взяли, калачей, колбасы. Отойдем версты три — отдохнем и закусим. Сорок-то верст отвалять — не поле перейти. У Троицы на половине дороги соснули, опять косушку купили. Только к вечеру уж, часам к семи, видим: наш Спас преображенья из-за лесу выглянул! Стоит на горке, ровно как на картинке, весь в солнышке. Слышим — и ко всенощной уж благовестят. Ну, мы сняли с себя одежу, почистились, умылись в канаве и пошли. Отошла всенощная — уж темно. Пошли к тетеньке Афимье Егоровне — накормила нас, в сарайчике спать уложила. А в сарайчике-то сено новое — таково ли пахнет! И что ж, сударь, устал я с дороги, а никак не усну! Ворочаюсь с боку на бок и все думаю: скоро ли свет? И чуть только побелело, я из сарая вон! Вышел, смотрю: господи ты боже мой! благодать! И солнышко-то там не по-здешнему встает! Здесь встанешь утром, посмотришь в окошко — солнце как солнце! А там словно змейками огненными сначала брызнет и начнет потом дальше да пуще разливаться... Дохну́ть боишься, покуда оно, значит, солнце-то, одним краешком словно из воды выплывать начнет! А кругом — тишина, ни одна веточка, ни один лист не

шелохнется — точно и деревья-то заснули, ждут, пока солнышко не пригреет. Стоял я таким манером один, а там, слышу, уж и по деревне зашевелились. Бабы печи затоплять стали, стадо в поле погнали, к заутрене зазвонили. Отстояли мы заутреню, потом обедню. Приход у нас хоть маленький, а все же для праздника дьякона соседнего пригласили. После обедни, даже не закусил путем, — прямо на барский двор побежал... ах, хорошо! Дом-то, правда, с заколоченными ставнями стоит, зато в саду — и не вышел бы! кусты, кусты, кусты — так и обступили со всех сторон... И на дорожках, и на клумбах — везде все в один большущий куст сплелось! И сирень тут, и вишенья, и акация, и тополь! И весь этот куст большущий поет и стрекочет! А кругом саду — березы, липы, тополи — и глазом до верхушки не достанешь. Давно ли, кажется, я каждое дерево наперечет знал, а тут, как сад-то зарос, и я запутался. Стоят, сердечные, и шапками покачивают, словно отпеванье кругом идет. Ходил-ходил я один-одинехонек, да и думаю: хорошо, что надумал один идти, а то беспременно бы мне помешали. Нагулявшись досыта, пошел в другой сад, где у старого барина фруктовое заведение было, — и там все спуталось и сплелося. Ягодные кусты одичали; где гряды с клубникой были — мелкая поросль березовая словно щетка стоит; где ранжерея и теплица были — там и сейчас головешки не убраны. Только яблони еще целы, да и у тех ветки, ради Преображеньева дня, деревенские мальчишки, вместе с яблоками, обломали. Смотрю: и родитель мой, уж выпивши, около ранжерей стоит. «Вот, говорит, ходил-ходил, кровь-пот проливал, а что осталось!»

. . . .

Наконец, уж почти перед самым моим отъездом из города, Гришка пришел ко мне и как-то таинственно, словно боялся, что его услышат, объявил, что он

женится на хозяйской дочери, Феклинье, той самой, о которой он упоминал не раз и в прежних собеседованиях со мною.

— Ах, хороша девица! — хвалил он свою невесту, — и из себя хороша, и скромница, и стирать белье умеет. Я буду портняжничать, она — по господам стирать станет ходить. А квартира у нас будет своя, бесплатная. Проживем, да и как еще проживем! И стариков прокормим. Вино-то я уж давно собираюсь бросить, а теперь — и ни боже мой!

— Стало быть, она согласилась?

— Да с какою еще радостью! Только и спросила: «Ситцевые платья будете дарить?» С превеликим, говорю, моим удовольствием! «Ну, хорошо, а то папаша меня все в затрапезе водит — перед товарками стыдно!» — Ах, да и горевое же, сударь, ихнее житье! Отец — старик, работать не может, да и зашибается; матери нет. Одна она и заработает что-нибудь. Да вот мы за квартиру три рубля в месяц отдадим — как тут разживешься! с хлеба на квас — только и всего.

— Смотрите же, сдержите ваше слово, бросьте пить!

— И ни-ни! Вчера последнюю косушку выпил. Сегодня с утра мутит, да авось перемогусь. Нельзя мне, сударь, пить, никоим манером нельзя. Жена, старики, а там, благослови господи, дети пойдут. Всем пропитанье я достать должен, да и Феклиньюшку свою поберечь. Стирка да стирка... руки у нее — кабы вы видели!.. даже ладони все в мозолях! Ну, да отдохнет и она за мужниным хребтом! И как мне теперь весело, кабы вы знали — точно нутро мое всё переменили! Только вот старики на радостях шибко горланят, да небось устанут же когда-нибудь!

— Ну, дай вам бог счастливо начать новую жизнь...

Затем я скоро совсем уехал и с тех пор не видал Гришки. Однако ж кое-что случайно слышал о нем, и это слышанное решаюсь передать читателю уже не в качестве действующего лица, а в качестве повествователя.

Свадьба состоялась на славу. Начать с того, что глядеть на жениха и невесту сбежался в церковь весь город; всем было любопытно видеть, каков будет Гришка под венцом. Затем, на дворе лил сентябрьский проливной дождь — это значило, что молодым предстоит жить богато. Наконец, за свадебным пиром все перепились, а это значило, что молодые будут жить весело.

Гришка был совсем трезв и смотрел почти прилично. За две недели до свадьбы он перестал пить, а купец Поваляев сжалился над ним и за многие прежние претерпения дал двадцатипятирублевую на свадьбу. Были и другие пожертвования, да отец заглянул в кубышку, так что собралось рублей пятьдесят. А чего недостало, то в долг взяли, так как Гришка продолжал питать радужные мечты насчет собственного заведения, а также и насчет того, что Феклинья будет ходить по господам и стирать белье.

Но на другой же день он уже ходил угрюмый. Когда он вышел утром за ворота, то увидел, что последние вымазаны дегтем. Значит, по городу уже ходила «слава», так что если бы он и хотел скрыть свое «бесчестье», то это был бы только напрасный труд. Поэтому он приколотил жену, потом тестя и, пошатываясь как пьяный, полез на верстак. Но от кабака все-таки воздержался.

Феклинья была шустрая мещаночка лет двадцати трех, давно известная всем местным купеческим сынкам. Особенной красотой она не обладала, но была востроглаза, бела, но не расплывчива, хотя уже слегка

расположена к дебелости. Это последнее качество, сопряженное с молодою задорливостью, в особенности нравилось. И ходила она как-то задорно, и глазами подмигивала, точно невесть что сулила! В целом городе один Гришка, по наивности и одичалости своей, не знал, что у нее уже сложилась прочная и очень некрасивая репутация.

В углу на столе кипел самовар; домашние всей семьей собрались около него и пили чай. Феклинья с заплаканными глазами щелкала кусок сахару; тесть дул в блюдечко и громко ругался. Гришка сидел неподвижно на верстаке и без всякой мысли смотрел в окошко.

— Садись пить чай, — звала его мать, — все равно не поправишь. А я ужó пойду, нагрею воды да отмою деготь.

Но Гришка не позволил отмывать.

— Не тронь! пускай все знают, в каком я интересе нахожусь! — зловеще прорычал он, — нынче смоешь, завтра опять вымажут.

— И поймать озорников можно. Уж так бы я отколошматила, кабы попался!

— Сто́ит из-за нее беспокойство принимать... паскуда! У меня своя вывеска, у нее — своя. Уйду в Москву; пускай она вас своими трудами кормит!

Так он и не притронулся к чаю. Просидел с час на верстаке и пошел на улицу. Сначала смотрел встречным в глаза довольно нахально, но потом вдруг застыдился, точно он гнусное дело сделал, за которое на нем должно лечь несмываемое пятно, — точно не его кровно обидели, а он всем, и знакомым и незнакомым, нанес тяжкое оскорбление.

— С праздником! — крикнул с балкона купец Поваляев, завидев его.

— С семейным счастьем! дай бог совет да радость!— подхватил с другого балкона купец Бархатников.

Он шел, не поднимая головы, покуда не добрался до конца города. Перед ним расстилалось неоглядное поле, а у дороги, близ самой городской межи, притаилась небольшая рощица. Деревья уныло качали разбухшими от дождя ветками; земля была усеяна намокшим желтым листом; из середки рощи слышалось слабое гуденье. Гришка вошел в рощу, лег на мокрую землю и, может быть, в первый раз в жизни серьезно задумался.

«Всю жизнь провел в битье, и теперь срам настал, — думалось ему, — куда деваться? Остаться здесь невозможно — не выдержишь! С утра до вечера эта паскуда будет перед глазами мыкаться. А ежели ей волю дать — глаз никуда показать нельзя будет. Без работы, без хлеба насидишься, а она все-таки на шее висеть будет. Колотить ежели, так жаловаться станет, заступку найдет. Да и обтерпится, пожалуй, так что самому надоест... Ах, мочи нет, тяжко!»

Мысль бежать в Москву неотступно представлялась его уму. Бежать теперь же, не возвращаясь домой, — кстати, у него в кармане лежала зелененькая бумажка. В Москве он найдет место; только вот с паспортом как быть? Тайком его не получишь, а узнают отец с матерью — не пустят. Разве без паспорта уйти?

«В Москве и без пачпорта примут, или чистый добудут, — говорил он себе, — только на заработке прижмут. Ну, да одна голова не бедна! И как это я, дурак, не догадался, что она гулящая? один в целом городе не знал... именно несуразный!»

Пролежал он таким образом, покуда не почувствовал, что пальто на нем промокло. И все время, не переставая, мучительно спрашивал себя: «Что я теперь делать буду? как глаза в люди покажу?» В сущности, ведь он и не любил Феклиньи, а только, наравне с другими, чувствовал себя неловко, когда она, проходя



мимо, выступала задорною поступью, поводила глазами и сквозь зубы (острые, как у белки) цедила: «Ишь, черт лохматый, пялы-то выпучил!»

Вставши с земли, он зашел в подгородную деревню и там поел. «В Москву! в Москву!» — вертелось у него в голове. Однако на этот раз он окончательного решения не принял, но и домой не пошел, а когда настали сумерки, вышел из крестьянской избы и колеблющимися шагами направился в «свое место». Всю ночь он шел, терзаемый сознанием безвыходности своего положения, и только к заутрене (кстати был праздник) достиг цели и прямо зашел в церковь. Церковь была совсем пуста. Громко раздавались под сводами возгласы священника и унылое пение тенориста-пономаря. Ожесточение в Гришке мало-помалу утихло; усталость и церковный мир сделали свое дело. Он встал на колени и начал молиться; полились слезы. Он чувствовал, что его начинают душить рыдания, что сердце в нем пухнет, разорваться хочет, и выбежал из церкви к тетке Афимье. Там он прямо объявил о своем «бесчестье» и жадно съел большой ломоть хлеба. Час-другой побурлил, но в конце концов как будто остепенился.

— Мне бы, тетенька, денька три отдохнуть, а потом я и опять... — сказал он. — Что ж такое! в нашем звании почти все так живут. В нашем звании как? — скажет тебе паскуда: «Я полы мыть нанялась», — дойдет до угла — и след простыл. Где была, как и что? — лучше и не допытывайся! Вечером принесет двугривенный — это, дескать, поденщина — и бери. Жениться не следовало — это так; но если уж грех попутал, так ничего не поделаешь; не пойдешь к попу: «Развенчайте, мол, батюшка!»

Старуха охала, но соглашалась, что теперь ничего не поделаешь. Жить надо — только и всего. А стыд — не дым, глаза не выест.

— Кабы ты что дурное сделал — тогда точно... перед людьми нехорошо! — говорила она резонно. — Поучи ее как следует — небось по струнке станет ходить!

Он прожил в деревне три дня, бродя по окрестностям и преимущественно по господскому саду. С наступлением осени сад как будто поредел и казался еще унылее. Дорожки совсем заросли и покрылись толстым слоем листа, так что даже собственных шагов не было слышно. Громадные березы тоскливо раскачивали вершины из стороны в сторону; в сирени, которою были обсажены куртины, в акациях и в вишенье раздавался неумолкаемый шелест; столетняя липа, посаженная сбоку дома, скрипела от старости. Все намокло, разбухло, оголилось, точно иззябло. Кое-где виднелись поломанные скамейки; посредине круга, обсаженного липами, уцелели остатки беседки; тын из толстых, заостренных кольев, окружавший сад, почти повсеместно обвалился. Запустение было полное, но Гришке именно это и было нужно.

Он сам как будто опустел. Садился на мокрую скамейку, и думал, и думал. Как ни резонно решили они с теткой Афимьей, что в их звании завсегда так бывает, но срам до того был осязателен, что давил ему горло. Временами он доходил почти до бешенства, но не на самый срам, а на то, что мысль о нем неотступно преследует его.

— Забыть я о нем не могу! — жаловался он тетке, — ну, срам так срам — что же такое? а вот ходит он за мной по пятам, не дает забыться — и шабаш! Есть сяду — срам; спать лягу — срам; проснусь — срам. Известно, потом буду жить, как и прочие, да теперь — мочи моей нет. Мое дело рабочее: целый день или на верстаке, или в беготне. Куда ни придешь — везде срам. Придет время, когда и прямо рога показывать будут — и то ничего. Да, видно, еще

не пришло оно. И прежде срамная моя жизнь была — не привыкать бы стать! — и теперь срамная, только срам-то новый, сердце еще не переболело от него.

— Ничего, переболит! — утешала Афимья.

— Ворочусь домой и прямо пойду к Бархатникову шутки шутить. Комедию сломаю — он двугривенничек даст. К веселому рабочему и давальцы ласковее. Иному и починиваться не нужно, а он, за «представление», старую жилетку отыщет: «На, брат, почини!»

Действительно, он через три дня ушел от тетки, воротился домой.

— Где, лохматый черт, шлялся? С голоду, что ли, мы подохнуть должны? — встретил его старик отец.

Жена заревела и бросилась ему в ноги.

— Что, паскуда, ревешь? — крикнул он на нее, — иди, не мотайся у меня на глазах!

И, обратившись к прочим членам нетерпеливо ожидавшей его семьи, сказал:

— Теперь я шутки шутить буду. Смотрите! Коли не полегчит мне, такую я с вами шутку сыграю, что не поздоровится!

Пошел он к купцу Поваляеву и сразу начал шутки шутить.

— Что ж, ваше степенство, не проздравляете? — спросил он, — ведь я с орденом!

И, сделав рукой рога, обратил их по направлению к своей голове.

— Ворота-то вымыли? — спросил Поваляев.

— Вымыли, да я опять вымазать хочу... пущай все проздравляют!

— Ишь ты, веселый какой! Стало быть, и вправду Феклинья сладка? который день тебя на улице не видать — все с молодой женой колобродите?

— Уж так-то сладка, так-то сладка... персик! Или вот, как в старину пирожники в Москве выкрикивали:

«С лучком, с перцем, с собачьим с сердцем! Возьмешь пирог в рот — сам собой в горло проскочит».

— Э! да ты, парень, веселый! Выпьем?

— Сегодня я зарок выполняю. А завтрашний день что́ покажет.

— Выпьем — пустяки! Я сам сколько раз зарок давал, да, видно, это не нашего ума дело. Водка для нашего брата пользительна, от нее мокроту гонит. И сколько ей одних названий: и соколик, и пташечка, и канареечка, и маленькая, и на дорожку, и с дорожки, и посошо́к, и сиволдай, и сиводрало... Стало быть, разлюбезное дело эта рюмочка, коли всякий ее по-своему приголубливает!

— В Москве один господин «опрокидонтом» ее называл.

— «Опрокидонт»!.. ха-ха! По-каковски же это?

— На бостанжогловском, говорит, языке.

— Отлично! «опрокинул» — и прав! выпьем!

— Зарок дал, не могу. Я лучше вам про Феклинью свою расскажу.

И рассказал. За это Поваляев пирогом его угостил, да двугривенный на чай дал, да две жилетки разом починить отдал, три двугривенных посулил.

— За что ласкаете, ваше степенство? — благодарил Гришка.

— За то, что ты веселый! Люблю я веселых! А то куксится человек — сам не знает, с чего! У него жена гуляет, а он куксится!

— Вот я на нее хомут надену, да по улице... — начал было Гришка, но вдруг, ни с того ни с сего, поперхнулся — точно сдавило ему горло — и убежал.

— Эй, ты! — крикнул ему Поваляев, — к завтрему чтобы были готовы жилетки, да и зарок чтобы снять. В настоящем виде чтобы...

Таким образом прожил он месяц, переходя от Поваляева к Бархатникову, от Бархатникова к Падчери-

цыну и т. д. Его уже не били, а видели в нем только развеселого малого, с которым, пожалуй, и театров не надо. Даже городничий с исправником — и те шутили, спрашивали, сладка ли Феклинья, часто ли она дома сидит, много ли с поденщины денег носит. Двугривенные так и сыпались на него и за работу, и за повадливость. Появились даже крупные заказы, так что он и шил, и кроил, и шутил — на все находил время. Даже деньги завелись.

— Скоро, пожалуй, и настоящее заведенье откроешь, ученика возьмешь, — поощрял его Поваляев, — нашему брату и в Москву обшиваться ездить не придется — свой портной будет! А все-таки, друг любезный, елей и вино разрешить нужно — тогда во всей форме мастеровой сделаешься!

Однако он продолжал упорствовать в трезвости. Надеялся, что «шутка» и без помощи вина поможет ему «угореть». Шутит да шутит,— смотришь, под конец так исшутится, что и совсем не человеком сделается. Тогда и легче будет. И теперь мальчишки при его проходе рога показывают; но он уж не тот, что прежде: ухватит первого попавшегося озорника за волосья и так отколошматит, что любо. И старики не претендуют, а хвалят его за это.

Вообще ему стало житься легче с тех пор, как он решился шутить. Жену он с утра прибьет, а потом целый день ее не видит и не интересуется знать, где она была. Старикам и в ус не дует; сам поест, как и где попало, а им денег не дает. Ходил отец к городничему, опять просил сына высечь, но времена уж не те. Городничий — и тот полюбил Гришку.

Тем не менее Гришка понимал, что одним шутовством, без вина, ему не обойтись. Правда, он уже чувствовал, что все глубже и глубже опускается в пропасть и что, быть может, недалеко время, когда он нащупает самое дно. Человеческий образ всегда был у

него в умалении, но мало-помалу он и вовсе утратил его. Прежде он отдавал на общее поругание свой нос, свое лицо, свое тело; теперь поругание проникло в самое его нутро. Дома был ад, на улице — ад, куда ни придет — везде ад. Таким образом дойдешь, пожалуй, до того, что на работу руки подниматься перестанут. «Паскуда» прямо смеется над ним; он ее за косу ухватить хочет, а она убежит. Станет он спрашивать: «Где была?» — а она в ответ: «Где была, там меня уж нет». И так нахально скалит при этом свои острые беличьи зубы, что он всем нутром застонет и ляжет плашмя на верстак. Но все-таки до конца «угореть» ему не удалось; все-таки он что-то еще понимает, чем-то мучится. Надо какой-нибудь решительный толчок, чтоб окончательно «угореть», не понимать и не мучиться. Не выпить ли?

Надежда, что со временем он обтерпится, что ему не будет «стыдно», оправдалась лишь настолько, насколько он сам напускал на себя бесстыжесть. Сам он, пожалуй, и позабыл бы, но посторонние так бесцеремонно прикасались к его язве, что не было возможности не страдать. «Ах, эта паскуда!» — рычал он внутренно, издали завидев на улице, как Феклинья, нарумяненная и набеленная, шумя крахмальными юбками и шевеля бедрами, стремится в пространство.

— Ишь, жена-то от тебя улепетывает! — хохотал ему в лицо Поваляев, — это она к бархатниковскому приказчику поспешает! Совсем опутала молодца. Прежде честный и тверёзый был, а теперь и попивать и поворовывать начал.

— Ах! не говорите мне, ради Христа! — стонал Гришка в такие минуты, когда шутовство на время покидало его.

— Чего не говорить! Вас, шельмов, из города выслать надо. Только народ мутите. Деньги-то она тебе, что ли, отдает?

«Начну-ка опять пить... или нет, еще погожу! — твердил себе Гришка, колеблясь между двумя альтернативами, — ин, лучше в Москву убегу!»

— Дайте вы мне пачпорт на все на четыре стороны! — настаивал он у стариков, — я и повинности заплачу, и вам высылать на прожиток буду.

— Уйдешь, и следа от тебя не останется — ищи тогда! Добро, и дома посидишь!

— Чего мне дома сидеть, скоро ведь и работать я совсем не буду. Да и несдобровать мне. Убью я когда-нибудь эту паскуду, убью!

Однажды, поздно ночью, Феклинья пришла домой пьяная. Гришка еще не спал и до того рассвирепел, что на этот раз она струсила.

— Где была? — кричал он на всю улицу, сверкая налитыми кровью глазами и поднося к ее лицу сжатые кулаки.

Она созналась, что была у самого Поваляева.

Он выбежал стремглав на улицу и помчался по направлению к дому Поваляева. Добежавши, схватил камень и пустил его в окно. Стекло разбилось вдребезги; в доме поднялась суматоха; но Гришка, в свою очередь, струсил и спасся бегством.

Дома рассказал о своем подвиге, умолял не разглашать о нем и кстати сделал новое открытие.

— Что́ ты натворил, черт лохматый! — упрекали его старики, — разве она в первый раз? Каждую ночь ворочается пьяная. Смотри, как бы она на тебя доказывать не стала, как будут завтра разыскивать.

Феклинья, полуобнаженная, спала в это время на лавке и тяжко металась.

— Убью я ее! убью! — злобно шептал Гришка... — Отпустите вы меня, ради Христа! Видите, что мне здесь не жить! Убью я... лопни моя утроба, ежели не убью!

— Врешь, проживешь и здесь! И не убьешь — и

это ты соврал. Все в нашем званье так живут, и ты живи. Ишь убиватель нашелся!

На другой день начались розыски. Феклинья действительно явилась доказчицей.

— Некому, окромя его! — говорила она, всхлипывая,— он и в меня, черт лохматый, не однажды камнем бросал — как только бог спас!

— Не знаем, может, и он! — на́двое свидетельствовали родители.

Гришку выдержали неделю в кутузке, и Поваляев окончательно рассердился. Теперь, с этой стороны, и на заработок, и на шутовство надежда была плохая.

Жить становилось невыносимо; и шутовство пропало, не лезло в голову. Уж теперь не он бил жену, а она не однажды замахивалась, чтоб дать ему раза. И старики начали держать ее сторону, потому что она содержала дом и кормила всех. — «В нашем званье все так живут, — говорили они, — а он корячится... вельможа нашелся!»

Мысль о побеге не оставляла его. Несколько раз он пытался ее осуществить и дня на два, на три скрывался из дома. Но исчезновений его не замечали, а только не давали разрешенья настоящим образом оставить дом. Старик отец заявил, что сын у него непутный, а он, при старости, отвечать за исправную уплату повинностей не может. Разумеется, если б Гришка не был «несуразный», то мог бы настоять на своем; но жалобы «несуразного» разве есть резон выслушивать? В кутузку его — вот и решенье готово.

Однако в одно прекрасное утро Гришка исчез.

Дорогой в Москву ему посчастливилось. На ночлеге кто-то поменялся с ним пальто. У него пальто было неказисто, а досталось ему совсем куцее и рваное; но

зато в кармане пальто он нашарил паспорт. Предъявитель был дмитровский мещанин, и звали его тоже Григорьем, по отчеству Петровым; приметы были схожие: росту среднего, нос средний, рот умеренный, волосы черные, глаза серые, особых примет не имеется.

— Вот и славно! — говорил себе Гришка,— пальто на толкучке другое куплю, а паспорт готов. Не забыть бы только, что я не Авениров, а Петров, дмитровский мещанин.

Москва оживила его. Еще верст за шесть, подходя к ней по Дмитровке и обоняя тот самый запах, который присущ подмосковной окрестности, он почувствовал неудержимый восторг.

— Иван-то великий! Иван-то великий! Ах, боже ты мой! — восклицал он, — и малый Иван тут же притулился... Спас-то, спас-то! так и горит куполом на солнышке! Ах, Москва — золотые маковки! Слава те, господи! привел бог!

Он истово перекрестился на все четыре стороны и инстинктивно прибавил шагу.

Переночевавши на постоялом дворе у Бутырской заставы, он вместе с зарею побежал прямо в город полюбоваться на Москву. За три-четыре года, которые он прожил в своем городе, Москва порядочно изменилась. Вместе с началом реформ произошел толчок и во внешности первопрестольного города. Москва стала люднее, оживленнее; появились, хоть и наперечет, громадные дома; кирпичные тротуары остались достоянием переулков и захолустий, а на больших улицах уже сплошь уложены были нешироким плитняком; местами, в виде заплат, выступал и асфальт. Тверская улица как будто присмирела, Кузнецкий мост — тоже, но зато в «Городе», на Ильинке, на Никольской с раннего утра была труба нетолченая от возов. Дома на этих улицах стояли сплошной стеной и были испещ-

рены блестящими вывесками. В довершение всего старые, знаменитые фирмы портных или исчезли, или скромно стушевывались, уступив место новым знаменитостям, долженствующим внести кургузость и шик в старозаветную московскую солидность. Тем не менее, экипировавшись заново на толкучке, Гришка разыскал кой-кого из хозяев, у которых он прежде живал. К одному из них он явился.

Хозяин был не из важных. Нашествие вестников шика значительно на него подействовало. Он постарел, растерял давальцев, сократил наполовину число мастеров и учеников, добрую часть квартиры отдавал внаймы под мастерскую женских мод, но никак не соглашался переменить вывеску, на которой значилось: «Иван Деев, военный и партикулярный портной», и по-французски: «Jean Déiéff, tailleur militaire et particulier».

— А! Авениров! видно, по Москве стосковался! — воскликнул он, увидев Гришку.

— Петров-с, — не сморгнув, отвечал Гришка.

— Помнится, Авенировым тебя величали, а впрочем... паспорт есть?

— Так точно-с.

Деев взглянул на паспорт. Оказалось: Петров, нос средний, рот умеренный, волосы черные, курчавые, глаза серые...

— Ничего, место найдется. Кстати, сегодня я одному подлецу расчет дал. С завтрашнего же дня — с богом! только ведь ты, помнится, пить не дурак.

— Зарок дал-с.

— И прекрасно. У меня, впрочем, расправа короткая. Первый раз пьян — прощаю; второй раз — скулу сворочу; в третий раз — паспорт в зубы и аллё машир. А за прогул — по три рубля в сутки штрафу, это само собой. Так?

— Обнаковенно. Как прочие, так и я.

На другой день возобновилось для Гришки старинное московское житье. Он был счастлив; работа немногим достается так легко и скоро. Через месяц он уже вполне втянулся в прежнюю бездомовую жизнь, с трактирами, портерными и тою кажущеюся сытостью, которую дает скудный хозяйский харч. Гришка, впрочем, не выдержал и, по слову Поваляева, дал себе разрешение на вино и елей. Вино восполняло недостаток питания. Он уже неоднократно делал прогулы, являлся в мастерскую пьяный, и хозяин не раз «поправлял» ему то одну, то другую скулу; но выгонять не решался, потому что руки у Гришки были золотые. Во всяком случае, в конце месяца, при расчете, в распоряжении его оставалась самая малость.

Представить себе жизнь мастерового в Москве — очень нелегкое дело. Это не жизнь, а что-то недостойное имени, недоступное для определения. Тут и полное отсутствие опрятности, и отвратительное питание, и загул, и спанье на голом верстаке. Все это перемежается какой-то судорожной, угорелой работой. Последняя сама по себе была бы неизнурительна, но, в совокупности с непрерывной сутолокой, она представляет своего рода каторгу. Нужно именно поступиться доброй половиной человеческого образа, чтоб не сознавать тех нравственных терзаний, которые должно влечь за собой такого рода существование, чтобы раз навсегда проникнуться мыслью, что это не последняя степень падения, а просто «такая жизнь». Если б луч сознания хоть на мгновение осветил этот мрак, он принес бы с собою громадное несчастие. Он изгнал бы улыбку из этого темного царства, положил бы запрет на самую речь человеческую. Но, к счастью или к несчастью, этого луча нет, и мастерские кипят веселостью, говором и смехом. Правда, веселость вымученная, говор и смех — циничные, но все-таки их достаточно, чтоб не дать вконец замереть этим придавлен-



ным людям. Замазанный, тощий, чуть живой ученик, распевая, скачет на одной ножке по тротуару и уже позабыл о только что вытерпенной трепке. Он бежит за кипятком в трактир, за косушкой в кабак; он радуется, что ему можно проскакать на одной ножке известное пространство, задеть прохожего, выругаться, пропеть циническую песню. Когда он приходит в возраст и садится на верстак, наравне с мастеровыми, он уже кончил всю школу. Мальчиком он был получеловек, и вступил в возраст получеловеком же. В каком качестве он умрет?

Такая жизнь не была для Гришки новостью, и он вполне подчинялся ей. Он боялся только одного: чтоб не открылся его паспортный подлог. Не раз случалось ему встречаться в трактирах с земляками, и он предпочитал говорить им, что живет совсем без паспорта, не может найти места и шатается по ночлежным домам. Но родные, по-видимому, уже знали, что он в Москве, и даже наказывали через земляков воротиться домой. С часу на час он ожидал розыска, и решился чаще переменять места. Один месяц его видели на Тверской, другой — на Арбате, третий — у Никитских ворот. Это дало ему репутацию непоседливого человека и повредило заработку. В конце концов, он уже с трудом находил себе места и действительно целыми неделями шатался по ночлежным домам, содержа себя случайною поденною работою.

Между тем дело о розыске портного Григория Авенирова уже назревало. Несколько месяцев оно находилось в участке и постепенно округлялось. Разыскивали неутомимо; посылали запросы в прочие участки, прибегали к помощи телеграфа. Когда, наконец, переписка достаточно округлилась и уже намеревались писать ответ, что портного Авенирова в Москве не обретается, кто-то из земляков случайно узнал о розыске и донес, что Авениров живет в мастеровых на

Плющихе у портного Ухабина, к которому, без замедления, и направил свои стопы околоточный.

— Кто здесь мастер Григорий Авениров? — кликнул он, входя.

Гришка понял, что дело его не выгорело, дрогнул слегка, но назвал себя.

— Паспорт? Ага! Каким же образом ты значишься в нем Петровым? Э, голубчик, да тут пахнет кражей и подлогом.

Хозяин, разумеется, выдал Гришку с головой.

Гришка высидел шесть месяцев в предварительном заключении и потом судился (судебная реформа только что была введена). Он уверял на суде, что не украл, а нашел паспорт в кармане вымененного пальто, и при этом откровенно рассказал свою мученическую жизнь. Но прокурор не верил ему, доказывал, что иначе дело не могло произойти, как с участием кражи, а подлог был ясен сам собой. Что же касается до россказней подсудимого о жизненных неудачах, то это — обычная уловка негодяев, употребляемая с целью смягчения присяжных. Назначенный судом защитник сказал всего несколько слов вяло, нéхотя, словно во сне веревки вил. Присяжные обвинили Гришку только в том, что он воспользовался чужим паспортом, и при этом дали ему снисхождение. Суд приговорил его на двухмесячную высидку.

Вся эта процедура, вместе с шатаньем по Москве, длилась с лишком год, так что, когда, после высидки, препроводили Гришку по этапу в родной город, настала уже глубокая осень.

Феклинья бросила и отца и дом. Она выстроила на выезде просторную избу и поселилась там с двумя другими «девушками». В избе целые ночи напролет светились огни и шло пированье. Старуха, Гришкина мать, умерла, но старики, отец и тесть, были еще живы и перебивались Христовым именем.

Вошел Гришка в родной дом и растянулся плашмя на верстаке. Ни отца, ни тестя не было в это время дома; двери стояли отпертые, потому что и украсть было нечего. В неметеной и нетопленной комнате отдавало сыростью и прелью; вместо домашней утвари стояли два деревянных чурбана, так что и жилого вида комната не имела; даже нищенской рвани не валялось на полу. Гришка лежал неподвижно, обессилевший, снедаемый недугом, приобретенным во время скитаний. Голова его горела под тяжестью мучительных дум. На работу рассчитывать, разумеется, было нельзя; но предстояло «жить», и эта мысль рвала ему сердце.

Осень приближалась к концу; грязь на улицах застыла; местами, где было мало езды, виднелись уже полосы снега. Над городом навис темный октябрьский вечер.

Гришка крадется по главной улице, по направлению к собору. Предчувствия его относительно работы сбылись. В течение недели он обегал своих прежних давальцев, но везде встретил суровый отказ, а купец Поваляев даже пообещал спустить на него собак, ежели он в другой раз явится. К тому же, в его отсутствие, в городе появился другой портной, Федор Купидонов, уже прямо из «Петербурха», и совсем веселый. Гришка ни разу порядком не поел, а питался обшарпанными, черствыми объедками, которые приносил домой отец. Ежели удавалось старикам набрать несколько медных пятаков, то покупали водки и сообща пили.

Приходилось и самому протягивать руку, но покуда горе настолько еще укрепляло его нравственные силы, что мысль о милостыне пугала его. Вот когда и горе пройдет, когда он окончательно обтерпится, тогда, вероятно, и решимость явится. Она придет сама собой.

Будет он ходить, приплясывая, по улицам, будет петь скверные песни, коверкаться, представлять юродивого — и на него посыплются гроши. Старики и милостыни просить не умеют: стоят, как истуканы, на перекрестке, с протянутыми руками, — оттого им и подают одни объедки. А он сумеет; он еще в портных выучился юродствовать и приплясывать. Чего доброго, вещим человеком между купчихами прослывет; станут чаем его поить, гривенниками оделять, тайного смысла в его бормотанье доискиваться: «Скажи, батюшко, скажи!» Конечно, не миновать ему и кутузки за эти проделки, но в кутузке все-таки теплее, чем дома, да и щей дают. Пожалуй, кутузка-то еще за «претерпение» ему сочтется: «Истязают тебя, касатик, замучить хотят!» — будут в один голос говорить купчихи.

К несчастью, горе до того впилось в него, что отдаляло перспективу юродства на неопределенное время. Он мучился день и ночь, сам не сознавая — отчего. Вероятно, в этой форме сказывались общие результаты жизни. О Феклинье он и не вспоминал, даже все прошлое почти позабыл и уже не возвращался к его подробностям, а сидел дома, положив голову на верстак, и стонал. Именно результаты прошлого сказывались разом, скопились они и переполнили сердце тоскою. Деваться некуда от тоски, — точно она одна и осталась. Тоска беспредметная, сама себя питающая, почти осязаемая...

Он дошел до собора; там служили всенощную, и третий звон еще не отошел. Когда он вошел в церковь, читали Евангелие и загудели колокола. Он стал в темном углу, начал вслушиваться, но ничего не понимал. Он был как бы в забытьи и трясся всем телом. Простоявши минут десять, вышел на паперть и начал колеблющимися шагами взбираться на колокольню. Взбирался инстинктивно, не сознавая, что там, наверху, ожидает его разрешение загадки жизни. Никаких

определенных намерений в его голове не шевелилось, никакого предвидения: все это заменилось непреодолимой силою рока. Тянет, влечет — только и всего.

Наконец он дошел до самого верха, над колоколами, и оглянулся. Город лежал окутанный мглою; огней сквозь осенний туман не было видно. Решетка в этом ярусе была такая низенькая, что опереться на нее было нельзя, а ограниченность пространства не допускала разбега. Однако кончить все-таки было нужно, кончить теперь же, сейчас, потому что завтра, упаси бог, он и впрямь юродствовать начнет.

Он невольно перекрестился и поклонился на все стороны.

Никто ничего не слыхал. Но минут через десять, когда служба кончилась, дьячок, выходя из церкви, встретил на пути своем препятствие.

— На человека наткнулся! — крикнул он,— ишь, пьяница, растянулся!

Стали тормошить «пьяницу» — не встает. Принесли фонари — и опознали Гришку.

— Ах, расподлая твоя душа! — крикнул кто-то в собравшейся толпе.

СЧАСТЛИВЕЦ

Этюд

В мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживленны. Казенная служба (на определенный срок) была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане; затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. Во всех углах интерната раздавалось:

— Ты куда?

— Разумеется, в министерство иностранных дел.

— Нас, брат, там не совсем-то долюбливают...

— У меня дядя там; он похлопочет... Ах, кабы через годик... attaché[1] в Париж!! А ты куда?

— Я... в департамент полиции исполнительной... — запинается собеседник и как-то стыдливо краснеет.

— Чудак!

— У меня там тоже дядя... обещал место помощника столоначальника... Тысячу двести рублей (тогда рубль еще был ассигнационный) на полу не поднимешь, а я...

Или:

— Тебе сколько родители на житье назначают?

— Мне... две тысячи, — краснея, отвечает товарищ, прибавляя целую половину или, по малой мере, четверть против скромной действительности.

— А мне пятнадцать! Maman уж приискала квартиру и меблирует ее... un vrai nid d'oiseau![2] Пару лошадей в деревне нарочно для меня выездили, на днях приведут... О! я...

Наконец:

— Ты у кого платье заказываешь?

— У Саррá, а белье — у Лепрéтра. А ты?

— Я — у Клеменца... это ведь тоже хороший портной... Белье — дома маменька шьет...

— Ах!

Повторяю: так было в мое время. Теперь, как я слышал, между воспитанниками интернатов уже существуют более серьезные взгляды на предстоящее будущее, но в сороковых годах разговоры вроде приведенного выше стояли на первом плане и были единственными, возбуждавшими общий интерес, и, несомненно, они не оставались без влияния на будущее. Питомец,

---

[1] причисленным к посольству *(франц.)*.

[2] настоящее птичье гнездышко! *(франц.)*

поступивший на службу в департамент полиции исполнительной, живший на каких-нибудь злосчастных тысячу рублей и заказывавший платье у Клеменца, мог иметь очень мало общего с блестящим питомцем, одевавшимся у Сарра́, мчавшимся по Невскому на вороном рысаке и имевшим виды быть в непродолжительном времени attaché при посольстве в Париже. Первое время по выходе из заведения товарищи еще виделись, но жизнь неумолимо вступала в свои права и еще неумолимее стирала всякие следы пяти-шестилетнего сожительства. Молодые люди, не встречаясь в обществе, легко забывали старое однокашничество, и хотя пожимали друг другу руки в театре, на улице и т. д., но эти пожатия были чисто формальные. Уже в самых стенах интерната образовывалось два лагеря, из которых один был не чужд зависти, другой — пренебрежения. Но что всего замечательнее, даже в одном и том же лагере дружеские связи очень редко завязывались прочно: до такой степени, с выходом на волю, жизненные пути разветвлялись, спутывались и всё более и более уклонялись в даль, в самое короткое время.

Лично я не мог похвалиться тесными дружескими связями, но все-таки ближе других был связан с Валерушкой Крутицыным. Я был, так сказать, средний воспитанник; из ученья имел баллы не блестящие, из поведения — и того меньше. Мои виды на будущее были более чем посредственные; отсутствие всякой протекции и довольно скудное «положение» от родных отдавали меня на жертву служебной случайности и осуждали на скитание по скромным квартирам с «черным ходом» и на продовольствие в кухмистерских. Даже последнее было не всегда доступно, потому что молодость требовала дорогих развлечений, и иногда, ради билета в театр, я вынуждался заменять скромный кухмистерский обед десятикопеечной колбасой с булкой.

Старый дядька, который жил при мне, и тот имел в мелочной лавке пищу более сытную и здоровую.

Напротив того, Крутицын, как оказалось из моих расспросов, был молодой человек вполне обеспеченный. Лошадей он, правда, не будет держать, но квартирку устроит комфортабельно и чистенько и обедать будет не иначе, как «настоящим образом» и в хорошем ресторане. Франтовства особенного не дозволит себе, а станет одеваться красиво и безукоризненно. На службе изнемогать он тоже не располагал (он называл чиновников «хамами»), а отбудет свой срок и затем выйдет на все четыре стороны. Он любит читать (не одни романы, но и серьезные книжки), охотник до театра и не имеет ни малейшей склонности к кутежам. Все это дает право надеяться, что жизнь его устроится разумно, независимо и свободно.

Но главная его претензия — это быть джентльменом. Когда наступит время, он уедет из Петербурга в «свое место» и будет служить по выборам. Ибо только таким образом истинный джентльмен может оправдать свое призвание; только там, среди «своих», он самым делом покажет, что значит высоко держать «свое» знамя.

— У нас, mon cher[1], насчет этого самые незрелые, почти младенческие понятия, — говаривал он мне. — Дворянство, за исключением немногих уездов, представляющих собой как бы оазисы, совершенно забыло о своем значении в государстве и обратилось в массу приживальцев на хлебах у казны. Какой-нибудь департаментский штатский генерал с высоты величия, почти с пренебрежением, смотрит на бедного дворянина, приезжающего в Петербург ходатайствовать по своим делам. В провинции, конечно, дело идет несколько иначе, но едва ли лучше. Там, наоборот, дворяне тесно

---

[1] мой дорогой *(франц.)*.

стоят друг за друга, но не в смысле джентльменства, а в самых вопиющих злоупотреблениях. Само собой разумеется, что таким образом действий они производят в массах глухое раздражение. Крепостное право совсем не так худо, как о нем рассказывают, и если бы дворяне относились друг к другу строже, то бог знает, когда еще этот вопрос поступил бы на очередь. А теперь, пожалуй...

Это говорилось еще задолго до слухов об эмансипации, и я положительно не понимал, откуда мог набраться Валерушка таких несвойственных казенному заведению «принципов». Вероятно, они циркулировали в его семействе, которое безвыездно жило в деревне и играло в «своем месте» значительную роль. С своей стороны, помнится, я относился к этим заявлениям довольно равнодушно, тем более что мысль о возможности упразднения крепостного права в то время даже мельком не заходила мне в голову.

Важнее всего было то, что у Крутицына, при самом выходе со школьной скамьи, существовала уже задача, довольно, правда, отдаленная и смутная, но все-таки, до известной степени, определявшая его внутренний мир.

Он не изменит данному слову, потому что он — джентльмен; он не позволит себе сомнительного поступка, потому что он — джентльмен; он не ударит в лицо своего слугу, не заставит повара съесть попавшего в суп таракана, не возьмет в наложницы крепостную девицу, потому что он — джентльмен; он приветливо примет бедного помещика-соседа, который явится с просьбой по делу, потому что он — джентльмен. Вообще он не «замарает» себя... нет, никогда! Даже наедине сам с собой он будет мыслить и чувствовать как джентльмен.

Первые шесть лет, которые Крутицын прожил в Петербурге, покуда не кончился срок обязательной

службы, наши дружеские связи продолжали поддерживаться, хотя я должен сознаться, что это стоило мне лично некоторых усилий. Впрочем, не я один, а и другие товарищи его охотно посещали, и он всех принимал радушно. Ни про кого из сверстников я не слыхал от него паскудной клички: «ami-cochon»[1], которую направо и налево рассыпали граф Б., граф О. и другие баловни фортуны. Напротив того, он даже искусственной предупредительности не выказывал, как бы боясь оскорбить ею, а оставался все тем же простым, участливым и добрым малым, каким был на школьной скамье. Правда, что некоторое время по выходе из школы у него почти совсем не было «посторонних» знакомств, и потому со стороны не представлялось случая для сравнений и выводов. Среда, в которой ему предстояло вращаться в будущем, еще не определилась, и товарищи составляли пока единственный ресурс.

Я знал, что у него живет в Петербурге сестра, замужем за князем X., что дом этой сестры — один из самых блестящих и что там собирается так называемое высшее общество. Валерушка бывал у сестры часто, и хотя это представлялось вполне естественным, но я как-то страдал всякий раз, когда на мой вопрос: «Дома ли Валериан Сергеич?» мне отвечали: «К сестрице уехали». Мне казалось, что тут уже кроется зародыш двойственности. Нередко, когда я сидел у Крутицына, подъезжала в щегольской коляске к дому, в котором он жил, красивая женщина и делала движение, чтобы выйти из экипажа; но всякий раз навстречу ей торопливо выбегал камердинер Крутицына и что-то объяснял, после чего сестра опять усаживалась в коляску и оставалась ждать брата. Крутицын, с своей стороны, извинялся предо мной и, поспешно надевши пальто,

[1] «свинтус» *(франц.)*.

выходил из дома. Однажды даже так случилось, что красавица полюбопытствовала и вышла из экипажа, и хотя Валериан крикнул ей в переднюю:

— Je ne suis pas seul...[1]

Но она не послушалась предостережения и вошла в кабинет.

— Надеюсь, что вы позволите «вашему другу» уехать со мной? — сказала она, обращаясь ко мне.

Слов было немного, но в тоне, которым были произнесены слова: «ваш друг», заключалась целая поэма. Во всяком случае, в эту минуту в первый раз, но все еще смутно, мелькнула мне мысль, что в «принципах» известной окраски, если даже они залегли в общее миросозерцание в тех чуждых надменности формах, в каких их воспринял Валерушка, может существовать своего рода трещина, сквозь которую просачивается исключительность и относительно «своих», но менее фаворизированных фортуною.

В наличности этой трещины еще более убедили меня дальнейшие сношения с Крутицыным. С течением времени в квартире его начали появляться «посторонние» личности. И хотя он очень предупредительно представлял нас друг другу, но я всегда чувствовал при этом невольную неловкость. Или придешь так, что «посторонняя» личность уже тут, и тогда она немедленно снимается с места и — со словами: «Итак, в таком-то часу...» — удаляется восвояси.

Или же «посторонняя» личность появлялась, когда я сидел у Крутицына.

Заглянув в кабинет и увидав меня, она восклицала:

— А! ты занят делами! Pardon![2] Я через час зайду...

---

[1] Я не один... *(франц.)*

[2] Извини! *(франц.)*

И делала движение, чтоб удалиться...

— О, нет! о, нет! — удерживал приятеля Валерушка, — останься! ты не помешаешь!

Но, разумеется, я, в свою очередь, понимал, что я лишний, и спешил удалиться.

Тем не менее я упорствовал. Хотя существование трещины делалось более и более несомненным, но я уверял себя, что она засела не в убеждениях самого Валерушки, а в той атмосфере, в которой ему, волей-неволей, приходилось вращаться. Сам он — говорил я себе — противник этой худо скрываемой надменности и, конечно, не лжет, говоря, что в ней заключается одна из причин сословной захудалости. Но не виноват же он, что рождение фаталистически кинуло его в такую среду, от которой он отречься не может. Не отказываться же ему, в самом деле, от людей, которых он беспрерывно встречает в обществе и из которых многие связаны с ним узами крови... Нет, сам по себе, он безупречно верен своим убеждениям и, конечно, в «своем месте» докажет на деле, какое его знамя и как нужно держать его.

Вообще Крутицын был мне симпатичен, несмотря на то, что, по убеждениям, мы принадлежали, так сказать, к совершенно различным приходам. Я имел слегка социалистическую окраску; он был экономист pur sang[1], штудировал Сэ и Бастиá, о социалистах же пренебрежительно выражался, qu'ils cherchent midi à quatorze heures[2]. Затем он был приверженец замкнутой сословности, я же склонялся на сторону самой широкой бессословности, доходя чуть не до suffrage universel[3], мысль о котором тогда уже начинала волновать Западную Европу. Но мне, при том небольшом

[1] чистейшей воды *(франц.)*.

[2] что они ищут вчерашний день *(франц.)*.

[3] всеобщего голосования *(франц.)*.

круге знакомых, какой я имел, дорог был в Крутицыне рассуждающий сверстник, с которым можно было спорить. Положим, эти споры были довольно первоначального свойства и оставляли нас при своих убеждениях, но все-таки тут было упражнение, которое в юношеские годы ценится очень дорого.

— Mon cher, — говаривал Крутицын, — разделите сегодня все поровну, а завтра неравенство все-таки вступит в свои права.

— Я знаю это возражение, — отвечал я, — все столоначальники опираются на него, как на каменную стену; но ведь дело совсем не так просто, как ты его рисуешь. Тут целая система со множеством подробностей, со сложной обстановкой...

Однако он не убеждался моими возражениями и продолжал:

— Или эти anti-lions, anti-réquins![1] Эти заботы насчет вывозки нечистот при помощи самоотверженных когорт... Бедный Фурье! он не предвидел ни ватерклозетов, ни нынешних парижских катакомб!

— И это суждение чисто столоначальнического свойства! Фурье не об одних anti-lions писал, но и...

И т. д.

Вообще, как я уже сказал выше, он охотно читал, но вычитывал в книгах именно то, что не только не нарушало хорошего расположения духа, но, напротив, содействовало поддержанию его.

Он был счастлив. Проводил время без тревог, испытывал доступные юноше удовольствия и едва ли когда-нибудь чувствовал себя огорченным. Мне казалось в то время, что вот это-то и есть самое настоящее равновесие души. Он принимал жизнь, как она есть, и брал от нее, что мог.

— Я ничего особенного от жизни не требую, —

---

[1] антильвы, антиакулы! *(франц.).*

говорил он нередко, — и нахожу, что она дает совершенно достаточно, чтобы удовлетворить меня. Никакой борьбы я не ищу и не буду искать, не потому, чтобы трусил, а потому, что борьба — не в моих принципах. Только то прочно, что приходит в свое время; насильственно же взятое или искусственно привитое, рано или поздно, погибает, и даже скорее рано, чем поздно. Кто действует мечом, тот от меча погибнет. Верь мне. Конечно, в людях, среди которых мне приходится жить, есть многое, что мне не по сердцу, но, вероятно, и во мне есть кой-что, что не нравится другим. Поэтому я или покоряюсь факту, принимаю его, как он есть, или же, если это удобно, вступаю в спор, в надежде убедить. Но без раздражения, разумно, с полным сознанием права, которое имеет противник отстаивать свое убеждение.

— Но ведь иногда это совсем не убеждение, а просто раздражение прихотливого или развращенного темперамента, — возразил я.

— В таком случае спор напрасен. Надо отойти — и больше ничего.

Он любил женское общество и имел у женщин успех; но бывал ли когда-нибудь влюблен — сомневаюсь. Мне кажется, настоящая, страстная любовь нарушила бы его душевную ясность, и если б даже запала случайно в его сердце, то он, ради спокойствия своего, употребил бы все усилия, чтоб подавить ее.

Он любил быть «счастливым» — вот и все. Однажды прошел было слух, что он безнадежно влюбился в известную в то время лоретку (так назывались тогдашние кокотки), обладание которой оказалось ему не по средствам, но на мой вопрос об этом он очень резонно ответил:

— Помилуй! неужели ты мог поверить, что я положу на одни весы мое личное спокойствие и вопрос о какой-то лоретке? Лоретка может занять меня на

одну минуту, не больше... Их так много, так много, что предложение почти превышает спрос. Притом же, я совсем не там ищу, и не того мне надо. Многие из моих приятелей постоянно проводят время в обществе этих девиц; я и сам иногда не прочь пробыть несколько часов в их компании, но, в конце концов, это скучно. Говорят они глупо, поют пошлые песни, даже движения у них не красивы, а только циничны. Если тела их и действуют возбуждающим образом на физику, то это возбуждение мимолетное. Ведь и тут все-таки необходима хоть искра ума или, по крайней мере, выдержки.

Таким образом, он и с этой стороны остался неуязвим. Сам выдержанный, он и везде искал такой же выдержки. Нашедши ее, чувствовал себя хорошо и удобно, не нашедши — не добивался и проходил мимо своею дорогою.

Мне кажется, что и у женщин Крутицын имел успех именно благодаря этой выдержке. Он был нежен, а не страстен, и притом безусловно приличен и скромен. Можно было с уверенностью сказать себе, что он не только словом, но и выражением глаз, лица не выдаст тайны, а это в интимных отношениях главное. Тихое наслаждение, без порывов и даже без назойливости, наслаждение настолько, насколько оно обусловливается обстоятельствами, обстановкой, — вот идеал, который он воспитал в себе. Даже разговора о сношениях с женщинами он не допускал, потому что и тут случайно могла прозвучать нотка, сказаться слово, которое выдало бы его.

— Женщина для меня святыня, — однажды сказал он мне, — я боюсь коснуться этой святыни, чтобы каким-нибудь неосторожным выражением не оскорбить ее. И потому храню молчание.

Между тем круг «посторонних» друзей все больше и больше теснился около него. Из старых товарищей

только я один его посещал, но и мне приходилось видеться очень редко. Это было тем более досадно, что он, по-видимому, не замечал ослабления дружеских уз. По-прежнему он был со мною приветлив и ровен, но, очевидно, большой цены частым свиданиям не придавал. Я уже начинал склоняться к мысли, что во всём этом кроется глубокий эгоизм, но, обдумавши, пришел к убеждению, что это — не более как довольство самим собою, своим положением, довольство, при котором не чувствуется даже потребности в анализе. Жизнь течет обычным порядком; обстановка кругом или изменяется, или остается неизменною — все равно «принципы» остаются нетронутыми, так что ни с какой стороны нет места для тревог... Вот и достаточно.

Только обязательная служба до известной степени выводила его из счастливого безмятежия. К ней он продолжал относиться с величайшим нетерпением и, отбывая повинность, выражался, что и он каждый день приносит свою долю вреда. Думаю, впрочем, что и это он говорил, не анализируя своих слов. Фраза эта, очевидно, была, так сказать, семейным преданием и запала в его душу с детства в родном доме, где все, начиная с отца и кончая деревенскими кузенами, кичились какою-то воображаемою независимостью.

Понять значение этой независимости было очень трудно, а доказать ее конкретным делом еще труднее. Кажется, она в том, по преимуществу, состояла, что «независимые» удалялись от коронной службы (были целые губернии, называвшиеся «корнетскими», потому что почти сплошь все помещики были отставные корнеты и вообще малочиновные люди, но зато обладавшие хорошими материальными средствами). Отставные корнеты поселялись в своих родовых гнездах, служили по выборам и фрондировали, а по тогдашнему выражению — «фыркали». В образе жизни они

старались подражать псевдоанглийским порядкам. Домашняя прислуга ходила в ливрейных фраках и бесшумно мелькала по комнатам, исполняя свои обязанности; глава семейства выходил к обеду во фраке и в белом галстуке; в доме царствовала строгая и совершенно определенная вымуштрованность, нарушения которой не могла вызвать даже самая настоятельная необходимость, и, наконец, ни один местный чиновник, служивший не по выборам от дворянства, не допускался за порог барских хором. В то время это считалось вольнодумством, и на людей, дозволявших себе поступать таким образом, смотрели косо, как на строптивых. Так что, в сумме, вся независимость сводилась к тому, что люди жили нелепою, чуть ли не юродивою жизнью, неведомо с какого повода бравируя косые взгляды, которые метала на них центральная власть, и называя это «держанием знамени».

На такую именно жизнь осужден был и Крутицын, но так как семена ее залегли в нем еще с детства, то он не только не чувствовал нелепых ее сторон, но, по примеру старших, видел в ней «знамя».

Наконец шестилетний срок обязательной службы истек, и Валерушка поспешил воспользоваться свободою. За два месяца перед окончанием срока он уже взял отпуск и собрался в «свое место», с тем чтобы оттуда прислать просьбу об отставке. В то время ему минуло двадцать семь лет.

В день отъезда я один приехал проводить его на дебаркадер мальпостов (железная дорога до Москвы еще не существовала). Время было глухое, июнь в конце; «посторонние» друзья разъехались по деревням и за границу. Не могу сказать, чтобы сердце мое особенно сжималось в виду предстоявшей разлуки, но все-таки чувствовалось некоторое томление. Я говорил себе, что разлука будет полная, что о переписке нечего и думать, потому что вся сущность наших отно-

шений замыкалась в личных свиданиях, и переписываться было не о чем; что ежели и мелькнет Крутицын на короткое время опять в Петербурге, то не иначе, как по делам «знамени», и вряд ли вспомнит обо мне, и что вообще вряд ли мы не в последний раз видим друг друга.

Нечего и говорить, что ничего подобного в мыслях Крутицына не было. Он просто уезжал, хотя, впрочем, искренно и крепко жал мне руки, благодаря за то, что я не забыл проводить его. Я помню, что в последние минуты мне пришла в голову довольно несообразная мысль. Нет, думалось мне, надо наконец поставить вопрос прямо. Нам обоим по двадцати семи лет, мы шесть лет уже пользуемся свободой, а какие результаты дала нам эта свобода? Можем ли мы указать на какое-нибудь дело или хоть на подготовку к нему? Имеем ли мы данные, с помощью которых можно было бы определить характер предстоящего нам будущего? или нам еще долго-долго придется плыть по житейскому морю без ветрила, просто в качестве «молодых людей»?

Мысль эту я не преминул сообщить на прощанье Крутицыну:

— Вот нам уже под тридцать, — сказал я, — живем мы шесть лет вне школьных стен, а случалось ли тебе когда-нибудь задаться вопросом: что дали тебе эти годы? сделал ли ты какое-нибудь дело? наконец, приготовился ли к чему-нибудь? Вообще можешь ли ты дать себе отчет в проведенном времени?

Он взглянул на меня удивленными глазами, точно впервые и с неудовольствием угадал во мне какой-то совершенно чуждый ему «беспокойный» элемент.

— О чем ты говоришь — не понимаю! — ответил он, — какие отчеты, какое «дело»? какая подготовка? Я жил — вот и все!

И, подумав с минуту, прибавил:

— А «дело», которое мне предстоит, и без подготовки — всегда налицо. Я с благоговением приму его в свое время из рук отца и останусь верен ему до последнего вздоха! Прощай.

Я угадал совершенно верно: в переписке потребности не оказалось. К тому же я сам вскоре, вслед за Крутицыным, вынужден был оставить Петербург и удалиться в глубь провинции. Валерушка, конечно, и не подозревал, что я исчез и куда.

Ежели вообще даже внешняя перемена в обычной жизненной обстановке неудобно отражается на человеческом существовании, то тем тяжелее действует утрата отношений, имеющих дружеский характер, особенно если одною из сторон эта утрата принимается равнодушно. Есть даже что-то оскорбительное в подобном равнодушии, какая-то приниженность чувствуется. Так было и со мною. Я называл навязчивостью те усилия, которые делались мною с целью сохранить еле державшуюся связь с Крутицыным; я даже негодовал на себя, что продолжаю думать об этой связи.

Впрочем, поездка в отдаленный край оказалась в этом случае пользительною. Связи с прежней жизнью разом порвались: редко кто обо мне вспомнил, да я и сам не чувствовал потребности возвращаться к прошедшему. Новая жизнь со всех сторон обступила меня; сначала это было похоже на полное одиночество (тоже своего рода существование), но впоследствии и люди нашлись... Ведь везде живут люди, как справедливо гласит пословица.

О Крутицыне я не имел никаких слухов. Взял ли он в руки «знамя» и высоко ли его держал — никому до этого дела в то время не было, и ни в каких газетах о том не возвещалось. Тихо было тогда, безмолвно;

человек мог держать «знамя» и даже в одиночку обедать во фраке и в белом галстуке — никто и не заметит. И во фраке обедай, и в халате — как хочешь, последствия все одни и те же. Даже умываться или не умываться предоставлялось личному произволению.

Я не сомневался, однако ж, что Валерушка устроился хорошо и не утратил душевного равновесия. Вероятно, он предводительствует в «своем месте», думалось мне, когда воспоминание об нем случайно западало мне в голову. А предводительство, по его мнению, само по себе уже есть «дело», которому стоит посвятить жизнь. Мало ли у предводителя обязанностей? И ходатайствовать, и настаивать, и отстаивать, и, наконец, «фыркать». С утра до вечера — сущая толчея. Так что когда наступит ночь и случайно вздумаешь дать себе отчет в прожитом дне, то не успеешь и перечислить всего совершённого, как благодетельный сон уже спешит смежить глаза, чтоб вознаградить усталый организм за претерпенную дневную сутолоку.

Целых восемь лет я вел скитальческую жизнь в глухом краю. И возлежал на лоне у начальника края, и был отметаем от оного; был и украшением общества, и заразою его; и удачи, и невзгоды — все испытал, что можно испытать на страже обязательной службы, среди не особенно брезгливых по служебной части коллег. Конца этому положению я не предвидел. Сначала делал некоторые попытки, чтобы высвободиться, но чем дальше шел вглубь, тем более и более обживался. Даже солонину и огурцы солил впрок и вообще зажил своим домом, хотя был совсем одинок. И теперь вспоминаю об этом времени с каким-то сомнением, действительно ли оно было.

Наконец искус кончился. Конец пришел так же случайно, как случайно пришло и начало. Я оставил далекий город точно в забытьи. В то время там еще ничего

не было слышно о новых веяниях, а тем более о каких-то ломках и реформах. Достоверно было только, что чиновникам предоставлено, вместо прежних мундиров и вицмундиров, носить мундирные кафтаны и вице-кафтаны. Несколько суток я ехал, не отдавая себе отчета, что со мной случилось и что ждет меня впереди. Но, добравшись до Москвы, я сразу нюхнул свежего воздуха. Несмотря на то, что у меня совсем не было там знакомых, или же предстояло разыскивать их, я понял, что Москва уже не прежняя. На Никольской появилось Чижовское подворье, на Софийке — ломакинский дом с зеркальными окнами. По Ильинке, Варварке и вообще в Китай-городе проезду от ломовых извозчиков не было — всё благовонные товары везли: стало быть, потребность явилась.

Еще не так давно так называемые «машины» (орга́ны) были изгнаны из трактиров; теперь Московский трактир щеголял двумя машинами, Новотроицкий — чуть не тремя. Отобедавши раза три в общих залах, я наслушался того, что ушам не верил. Говорили, что вопрос о разрешении курить на улицах уже «прошел» и что затем на очереди поставлен будет вопрос о снятии запрещения носить бороду и усы. Говорили смело, решительно, не опасаясь, что за такие речи пригласят к генерал-губернатору. В заключение, железный путь от Москвы до Петербурга был уже открыт.

Хорошее это было время, гульливое, веселое. Денег было много, а ежели у кого и оказывалась недостача, то это значило: перед деньгами. Приятели, на радостях, охотно давали взаймы, в трактирах — охотно верили в долг. И, притом, много ли нужно человеку, особливо московскому? — рюмка, две рюмки, три рюмки — вот он и пьян! Потому что у него внутри уж гнездо заведено. А на закуску — кусочек хлеба с кро-

шечным ломтиком ветчины. И этого достаточно, потому что водка сама по себе насыщает. Даже половые встрепенулись и летали по залам трактиров с сияющими лицами, довольные и счастливые, что наконец узы разорваны и наступило время настоящей «вольной» работы. И они высоко держали своего рода «знамя».

Прибавьте ко всему этому прибаутки Кокорева, его возню с севастопольскими героями, угощения, увеселительные поездки по Николаевской железной дороге, кутежи в Ушаках — и согласитесь, что бедному провинциалу было от чего угореть.

Когда я добрался до Петербурга, то там куренье на улицах было уже в полном разгаре, а бороды и усы стали носить даже прежде, нежели вопрос об этом «прошел». Но всего более занимал здесь вопрос о прессе. Несмотря на то, что цензура не была еще упразднена, печать уж повысила тон. В особенности провинциальная юродивость всплыла наружу, так что городничие, исправники и даже начальники края не на шутку задумались. Затевались новые периодические издания, и в особенности обращал на себя внимание возникавший «Русский вестник». При этом Петербург завидовал Москве, в которой существовал совершенно либеральный цензор, тогда как в Петербурге цензорá всё еще словно не верили превращению, которое в их глазах совершалось. Что касается устности, то она была просто беспримерная. Высказывались такие суждения, говорились такие речи, что хоть бы в Париже, в Бельвилле. Словом сказать, пробуждение было полное, и, разумеется, одно из первых украшений его составлял тогдашний premier amoureux [1], В. А. Кокорев, который на своем образном языке называл его «постукиваньем».

[1] первый любовник *(франц.)*.

Петербург был переполнен наезжими провинциалами. Все, у кого водилась лишняя деньга, или кто имел возможность занять, — все устремлялись в Петербург, к источнику. Одни приезжали из любопытства, другие — потому, что уж очень забавными казались «благие начинания», о которых чуть не ежедневно возвещала печать; третьи, наконец, — в смутном предвидении какой-то угрозы. Крутицын был тоже в числе приезжих, и однажды, в театре, я услыхал сзади знакомый голос:

— А! Мельмот-скиталец! Наконец!..

Мы встретились радушно и просто, как будто расстались только вчера. Крутицын по-прежнему глядел счастливо, так что сразу было видно, что он вполне доволен своим положением. На щеках его играл румянец, в волосах — ни признака седины или другого ущерба; походка такая же легкая, с приятным перевальцем, как восемь лет тому назад; нигде ни малейшей обрюзглости или отяжелелости; одет без франтовства, но безукоризненно. Вообще он не только не постарел, а как будто даже помолодел. Напротив того, я, судя по его словам, и похудел, и обрюзг, и постарел.

— Видно, на окраинах-то живется не совсем припеваючи! — молвил он, осматривая меня.

— Что же ты не прибавляешь: сам виноват? — пошутил я в ответ.

— Я, голубчик, держусь того правила, что каждый сам лучше может оценивать собственные поступки. Ты знаешь, я никогда не считал себя судьей чужих действий, — при этом же убеждении остался я и теперь.

Я узнал, что он приехал на короткое время и остановился в гостинице. Не столько дела привлекли его, сколько любопытство. Какие могли быть у него дела с бюрократией? — конечно, никаких! Но для любозна-

тельности поводов было достаточно, и он не отрицал, что в обществе проснулось нечто вроде самочувствия. Не лишнее было принять это явление в соображение, ввиду «знамени», которое он держал, и, быть может, даже воспользоваться им на вящее преуспеяние излюбленных интересов.

— Здесь очень забавно, — выразился он чуть-чуть иронически, — курят на улицах так, что, того гляди, свод небесный закоптят. И бороды отпустили — узнать мудрено. Один Кокорев, с своими «героями», чего стоит! заглядеться можно!

— А пресса-то, пресса! — подстрекнул я.

— Ну да, и пресса недурна. Что же! пускай бюрократы побеспокоятся. Вообще любопытное время: Немножко, как будто, сумбуром отзывается, но... ничего! Я, по крайней мере, не разделяю тех опасений, которые высказываются некоторыми из людей одного со мною лагеря. Нигде в Европе нет такой свободы, как в Англии, и между тем нигде не существует такого правильного течения жизни. Стало быть, и мы можем ждать, что когда-нибудь внезапно смешавшиеся элементы жизни разместятся по своим местам.

Кроме того, я узнал, что он женился. И теперь, в Петербурге, он с женой, но она уехала на вечер к сестре, а он предпочел театр.

— Хорошая у меня жена, умница! — прибавил он с видимым удовольствием.

— Итак, ты счастлив?

— То есть доволен, хочешь ты сказать? Выражений, вроде: «счастье», «несчастье», я не совсем могу взять в толк. Думается, что это что-то пришедшее извне, взятое с бою. А довольство естественным образом залегает внутри. Его, собственно говоря, не чувствуешь, оно само собой разливается по существу и делает жизнь удобною и приятною.

Сказавши это, он пожал мне руку и удалился, при-

чем не спросил, где я живу, да и сам не пригласил меня к себе. Очевидно, довольство настолько овладело им, что он утратил даже представление о каком-либо ином обществе, кроме общества «своих».

Тем не менее я не утерпел и на другой же день, довольно рано, уже был у него.

Крутицын весь сиял счастьем — это с первого взгляда бросалось в глаза. Было часов около одиннадцати, но и он, и жена его уже держали свое «знамя». Она, прелестная, свежая, благоухающая, сидела у круглого стола и разливала чай. Крутицын правду сказал: по всем ее движениям, неторопливым и плавным, видно было, что она «умница». И ела, и пила она настоящим образом, не жеманилась, не играла ложкой, не стыдилась, как бы говоря: это я случайно пью чай и булку с маслом ем, а обыкновенно я питаюсь эфиром! И ела, и пила, как все смертные, и даже мне, без предварительных расспросов, налила чашку, — все как следует умнице. Что касается до него, то он, в утреннем неглиже (tout-à-fait correct[1]), помещался сбоку стола. Разумеется, меня не ждали и как будто даже удивились, что я так поспешил.

— Мне вчера еще Valérien говорил о вас, — сказала она, когда Крутицын отрекомендовал меня, — и я очень рада познакомиться с вами. Друзья моего мужа — мои друзья.

Я вспомнил подобную же сцену с сестрою Крутицына, и мне показалось, что в словах: «друзья моего мужа — мои друзья» — сказалась такая же поэма. Только это одно несколько умалило хорошее впечатление в ущерб «умнице», но, вероятно, тут уже был своего рода фатум, от которого никакая выдержка не могла спасти.

[1] в высшей степени приличном *(франц.)*.

Через четверть часа «умница» скрылась в соседнюю комнату, и мы остались одни. Я некоторое время так пристально вглядывался в Валерушку, что он, смеясь, заметил:

— Ты что на меня так странно смотришь? Что-нибудь необыкновенное приметил?

— Нет, я просто угадать хочу.

— Что ж угадывать? Во мне все так просто и в жизни моей так мало осложнений, что и без угадываний можно обойтись. Я даже рассказать тебе о себе ничего особенного не могу. Лучше ты расскажи. Давно уж мы не видались, с той самой минуты, как я высвободился из Петербурга, — помнишь, ты меня проводил? Ну же, рассказывай: как ты прожил восемь лет? Что предвидишь впереди?..

Я рассказал, что мог, но запас у меня был не особенно обильный. В десять — пятнадцать минут все было кончено.

В самом деле, что я оставил позади за те восемь лет, в продолжение которых мы не видались? — воспоминание о какой-то бесконечно длинной и бессодержательной процедуре, до того однообразной, что она напоминала собой сказку о белом бычке. Настолько была общеизвестна эта процедура, настолько всем надоела, что, как только наступила благоприятная минута, все взапуски спешили отделаться от нее, как от кошмара. Что же касается до эпизодов и подробностей, которые оттеняли один день от другого, то они отзывались уже чересчур узкою специальностью и положительно никого не могли интересовать. Сегодня — следствие о вымогательстве, завтра — о сокрытии, послезавтра — о превышении или бездействии, и т. д. Хвалиться, после долгих лет разлуки, перед приятелем, сколько стоило труда и искусства, чтобы поймать, уличить и вообще довести, с грехом пополам, какого-нибудь воришку-станового до вожделенного

3-го пункта, — право, не стоило. С другой стороны, и беседовать о дешевизне съестных припасов было неинтересно. Какое дело Крутицыну до того, что в городе Глазове пара рябчиков стоит семь копеек серебром? Все, что он может сказать по поводу таких россказней, — это:

— Дешевизна так неимоверна, что рябчики непременно должны быть давленые, а не стреляные. Во всяком случае, ни один порядочный повар не согласится подать давленую дичь на стол.

— Нет, лучше о тебе будем говорить, — сказал я, истощив свой запас.

— Что ж я могу рассказать тебе? Как видишь: женат, счастлив; восемь лет прошли как сон.

— Голубчик! ведь восемь лет немало времени; положим, для меня, с фактической стороны, они прошли почти бесследно. Существование мое было однообразное, подневольное и шло изо дня в день в совершенно чуждой среде. Но и тут я убежден, что еще не успел разобраться в недавнем прошлом и что впоследствии оно все-таки откликнется. Выступят наружу личности, характеристики, осветятся факты, подробности, а за ними появится целая свита ошибок. Сколько окажется поводов для самобичевания, для укоров! Какие потрясающие драмы могут выплыть на поверхность из омута мелочей, которые настолько переполняют жизненную обыденность, что ни сердце, ни ум, в минуту совершения, не трогаются ими! Нет, перемена, происшедшая в моем существовании, так еще свежа, — всего несколько месяцев, — что я не успел еще присмотреться к прошлому и не могу дать себе отчета, чем оно чревато, укорами или поощрениями. Напротив, ты...

— Мне кажется, что ты уж чересчур трагически смотришь на вещи...

— Ну, будет; действительно, я что-то некстати раз-

витийствовался. Рассказывай же, рассказывай о себе: как жил, что делал?

— Как жил? — ну, жил, и больше ничего. Признаюсь, я даже не понимаю этого вопроса, и мне кажется, что, гоняясь за разрешением его, tu cherches midi à quatorze heures[1]. Смутно помнится, что мы уже однажды имели подобный разговор, и я объяснился с тобою. Но ты, по-видимому, неисправим. Итак, повторяю: я жил и не имею причины быть недовольным моим прошлым. Быть может, что это происходит оттого, что я ничего особенного не требую, или оттого, что сама судьба меня приголубливает, — во всяком случае, я не жалуюсь и сознаю себя вполне удовлетворенным. Однажды только я испытал серьезное горе — это когда умер отец, которого я страстно любил. Но время сгладило и это горькое впечатление; у меня осталась мать, к которой я также страстно привязан, и мы втроем живем душа в душу: maman, жена и я. Жаль только, что с сестрой приходится видеться редко, но тут уж ничего не поделаешь. Словом сказать, я живу семейно и согласно, а ежели в доме царствует согласие, то и жизнь не может не радовать. Достаточно этого для тебя?

— Но ведь у тебя было дело? доволен ли ты им?

— И дело было, и надеюсь, что и вперед ему буду служить. И скажу без хвастовства, что сознательно против однажды усвоенной règle de conduite[2] не поступал. Держать вверенное знамя совсем не легкая задача, и я исполнял ее по мере моих сил. Я не кичился моими преимуществами, не пользовался ими в ущерб моим доверителям, не был назойлив, с полною готов-

---

[1] ты ищешь вчерашний день *(франц.)*.
[2] линии поведения (*франц.*).

ностью являлся посредником там, где чувствовалась в этом нужда, входил в положение тех, которые обращались ко мне, отстаивал интересы сословия вообще и интересы достойных членов этого сословия в частности, — вот мое дело! Быть может, оно не блестяще, но удовлетворяет меня вполне. И несмотря на кажущуюся простоту, оно порядочно-таки сложно, так что облениться или опуститься мне не было времени. Ведь не только одна тишь да гладь царствовали, а были и шероховатости. Вспомни, что в мою компетенцию входили не одни дворяне, но и крестьяне. Сверх того, и все служащие по выборам... Покойный отец сделал многое, чтобы наш уезд в административном смысле был безупречен, и я шел по стопам его. Неужели всего этого недостаточно?

— Помилуй! как недостаточно? напротив!

— Ты иронизируешь? находишь, что все это мелочи? Но что же делать, если ничего более крупного в жизни не видится?

— То-то вот и есть... отчего одни только мелочи? отчего положение вещей остается на одной точке и ни на какой осязательный результат указать нельзя?

— Pardon! Выражение: «мелочи» — сорвалось у меня с языка. В сущности, я отнюдь не считаю своего «дела» мелочью. Напротив. Очень жалею, что ты затеял весь этот разговор, и даже не хочу верить, чтобы он мог серьезно тебя интересовать. Будем каждый делать свое дело, как умеем, — вот и все, что нужно. А теперь поговорим о другом.

Мы поговорили еще минут десять о вчерашнем спектакле и расстались.

Прошло целых тридцать лет, наполненных какою-то пестротою, в которой трудно было отыскать руководящую нить. Эпоха «постукиванья» миновала быстро;

наступило суровое, беспощадное отрезвление, умеряемое случайными и не всегда мотивированными возвратами к лучшим временам. В воздухе чуть не каждый день оттепель сменялась жгучим холодом, и наоборот; но настоящие теплые дни перепадали редко. Эти перемены заставляли себя чувствовать тем более мучительно, что наступали внезапно и вследствие чисто внешних, случайных причин. Явления, имевшие совершенно частный характер, обобщались и угнетающим образом отражались на целом жизненном строе. Жилось сомнительно, без уверенности в завтрашнем дне, без удовлетворения днем настоящим. Знамена, которые всякий спешил выкинуть в дни «возрождения», вдруг попрятались; самое представление о возрождении стушевалось и сменилось убеждением, что ожидание дальнейших развитий было бы ребячеством. Умы воротились к старинной, излюбленной теме: как бы выйти неповрежденным из сутолоки насущного дня. В прессе, рядом с «рабьим языком», народился язык холопский, претендовавший на смелость, но, в сущности, представлявший смесь наглости, лести и лжи. «Улица» притихла.

В течение всего этого времени я был почти исключительно поглощен литературными занятиями. Скорбных минут было немало, но, по крайней мере, поддерживалось горение мысли — и за то спасибо. Всего мучительнее было то, что писатель не мог определительно указать на своего читателя, так что голос его раздавался, так сказать, наудачу. Но, во всяком случае, литературный труд сам по себе представляет достаточно утешений. Допустим, что на особенно плодотворные результаты рассчитывать нечего, но все-таки думается, что хоть что-нибудь, хоть штрих один, хоть слабый звук — дойдет по адресу. Гудит и снует безымянная толпа, совсем не подозревая, что к ней обращено горячее писательское слово, — и вдруг

выискивается адресат, который ловит это слово на лету... Это большое счастье, но в то же время, надо сказать правду, и большая редкость, потому что адресат робок и обнаруживать свои чувства не всегда считает полезным.

Повторяю: результаты моей деятельности были сомнительны, но существовал самый процесс излюбленного литературного труда, и это до известной степени удовлетворяло. Настоящее слово выговаривалось с трудом, но попытки сказать его все-таки существовали. Еще не утрачена была возможность полемизировать, и творцы холопского языка чувствовали хоть какую-нибудь узду. С течением времени и эта возможность исчезла, и холопский язык получил возможность всесильно раздаваться из края в край, заражая атмосферу тлением и посрамляя человеческие мозги.

С своей стороны, Крутицын крепче, нежели когданибудь, держал свое знамя. Он понимал, что плошать не следует, потому что в пестрое время на первом плане стоит значение минуты и возможность ее уловить. В первый раз пришлось ему постичь истинный смысл слова «борьба», но, однажды сознав необходимость участия этого элемента в человеческой деятельности, он уже не остановился перед ним, хотя, по обычаю всех ищущих душевного мира людей, принял его под другим наименованием. Он называл борьбу отстаиваньем освященных веками интересов и с гордостью говорил, что его нельзя смешивать с толпою беспокойных, которая занималась отыскиванием каких-то новых общественных идеалов и форм. Он, по преимуществу, действовал на местные правящие сферы: убеждал, приглашал оставить опасный путь и идти об руку по стезе благонамеренности. Но если это не удавалось, то, выждав «минуту», ехал в Петербург и настаивал на своем. И так как выбранная минута была всегда такая,

когда в известных сферах было насчет благонамеренности «твердо», то жертв этой настойчивости оказывалось немало.

Словом сказать, Крутицын был доволен и среди «своих» пользовался не только популярностью, но и любовью. Несмотря на почти непреодолимые трудности, он создал из своего уезда действительный оазис, в котором, после эманципации, ни один помещик не продал ни пяди занадельной земли, в котором господствовал преимущественно сиротский надел и уже зародились серьезные задатки крупного землевладения. Даже мелкие сошки куда-то исчезли; остались только настоящие столпы, кровные деревенские джентльмены, которые обедали в своих семьях во фраках и белых галстуках.

Хотя в Петербург он приезжал довольно часто, но со мной уже не видался. По-видимому, деятельность моя была ему не по нраву, и хотя он не выражал по этому поводу своих мнений с обычною в таких случаях ненавистью (все-таки старый товарищ!), но в глубине души, наверное, причислял меня к разряду неблагонадежных элементов.

От времени до времени мы виделись, но исключительно в публичных местах, вполне случайно, и без разговоров расходились, пожав друг другу руки. Впрочем, о целях его наездов в столицу я почти всегда знал. Фамилия Крутицына приобрела уже значительную известность и встречалась в газетах наравне с фамилиями самых горячих защитников интересов консервативной партии. Помнится, что он даже кой-что пописывал, хотя без особенного успеха. Он значительно изменил свои прежние убеждения относительно бюрократов и соглашался, что, при известных условиях, между интересами бюрократическими и сословными не только не существует ни малейшей розни, но, напротив, первые споспешествуют вторым, а вторые оплодо-

творяют первые. Поэтому он относится с доверием даже к департаментским столоначальникам. Он ходатайствовал, подавал записки, добивался участия в разнообразных комитетах и комиссиях и уже не стоял исключительно на сословной почве, но выказывал намерение перейти на почву общегосударственную. Сословная обеспеченность может быть достигнута только при соответствующем устройстве всего государственного уклада, — настаивал он, и слова его, будучи, в сущности, самым ординарным общим местом, считались мудрыми. Ему неоднократно предлагали место губернатора и даже выше, но он наотрез отказывался. В этом отношении он остался верен отцовским «принципам» и находил, что сословная честь требует неизменной преданности исключительно сословному знамени.

Раза два-три я встречался с ним за границей, преимущественно в Эмсе, куда он от времени до времени ездил (всегда в сопровождении жены), чтобы подлечить какую-то неисправность в легких. Здесь, благодаря полному досугу, он был менее сдержан и охотно возвращался к дружеским собеседованиям. Разговоры наши, впрочем, не касались «знамени», ни вообще внутренней политики, а вращались исключительно около кулинарных интересов. Где лучше обедать: в Hôtel «Vierjahreszeiten» [1] или в кургаузе? А, может быть, еще лучше — с утра разузнавать по известным отелям, в котором из них предполагается наиболее подходящий обед? Крутицын отзывался о немецкой кухне не только без презрения, как это делает большинство русских гастрономов, но даже хвалил ее. И она, с своей стороны, способствовала душевной ясности, перевариваясь легко, без желудочных переполохов.

— Во всяком обеде найдешь два-три блюда очень

[1] Гостиница «Четыре времени года» *(нем.)*.

приличных, — говорил он, — и притом таких, от которых не чувствуется в желудке никакой тяжести. Все здесь так устроено, чтобы питание, без ущерба в гастрономическом смысле, не вредило лечению, но, напротив, содействовало.

— Да, голубчик, ограждение интересов желудка — это в своем роде знамя, — поддакивал я ему.

— У нас, где-нибудь во Владикавказе, непременно свининой отпотчуют или солониной накормят, а здесь даже menus[1] в табльдотах составляется не иначе, как под наблюдением водяного комитета.

— Да, но ведь и свинина вкусна!..

— Вкусна — не спорю! но в гигиеническом смысле...

Стало быть, и в кулинарном отношении он был счастлив: желудок в исправности! — Многие этого блага с детских лет добиваются, да так и сходят в могилу с желудочным засорением.

Сверх того, он был горячий поклонник Бисмарка и выражался о нем:

— Это человек!

И в этом я ему не препятствовал, хотя, в сущности, держался совсем другого мнения о хитросплетенной деятельности этого своеобразного гения, запутавшего всю Европу в какие-то невылазные тенета. Но свобода мнений — прежде всего, и мне не без основания думалось: ведь оттого не будет ни хуже, ни лучше, что два русских досужих человека начнут препираться о качествах человека, который простер свои длани на восток и на запад, — так пускай себе...

Повторяю: наши собеседования были легкие, гигиенические, и Крутицын был, по-видимому, благодарен, что я не переношу их на другую почву.

Однажды, однако ж, я не вытерпел и спросил его:

---

[1] меню *(франц.)*.

— Правда ли, что ты считаешь меня неблагонадежным элементом?

— Mais puisque tu demandes cent milles têtes à couper![1]

— Фу-ты!

Ответ его был несколько придурковат, но так как он, видимо, был счастлив, выказав нечто похожее на остроумие, то я не возражал дальше. Счастье так счастье! — пусть выпивает чашу ликования до дна!

Несколько раз я порывался спросить его, что он делает в «своем месте» и подвинулось ли хоть на вершок что-нибудь вследствие его настояний, отстаиваний, ходатайств и вообще вследствие той сутолоки, которой он неустанно предается ради излюбленного «знамени»; но, предвидя тот же стереотипный ответ, который и прежде слыхал от него, воздержался.

Впрочем, и за границей всегда так случалось, что постепенно наезжали на воды люди, связанные с Крутицыным более интимным образом, нежели я, и тогда он незаметно исчезал для меня в толпе «своих».

Гораздо позднее я узнал, что счастье его усугубилось: он познал свет истины. Молодость уже миновала (Крутицыну было под шестьдесят), да кстати подрос и сын, — у него их было двое, но младший не особенно радовал, — которому он и передал из рук в руки дорогое знамя, в твердой уверенности, что молодой человек будет держать его так же высоко и крепко, как держали отец и дед. Сам же Валерьян Сергеич бесповоротно заключился в своем château[2] и исключительно предался осенившему его душевному обновле-

[1] Но ведь ты требуешь отрубить сто тысяч голов! *(франц.)*

[2] замке (*франц.*).

нию. Сначала он отдался спиритизму, потом сделался ревностным редстокистом, а наконец и сам начал кой-что придумывать. Сложится у него в голове какой-нибудь произвольный афоризм — он и исповедует его, не останавливаясь перед самыми крайними выводами. Рассказывали, что по вечерам в обширном зале его château собирались домочадцы, начиная от жены, детей, гувернанток и бонн и кончая низшей прислугой. Ставился аналой; Крутицын надевал черную ряску, выбирал главу из Евангелия и толковал ее, разумеется, в смысле излюбленного афоризма. Толкования эти продолжались час и два; слушатели, конечно, не прекословили, а только вздыхали. И он был счастлив безмерно.

В эпохи нравственного и умственного умаления, когда реальное дело выпадает из рук, подобные фантасмагории совершаются нередко. Не находя удовлетворений в действительной жизни, общество мечется наудачу и в изобилии выделяет из себя людей, которые с жадностью бросаются на призрачные выдумки и в них обретают душевный мир. Ни споры, ни возражения тут не помогают, потому что, повторяю, в самой основе новоявленных вероучений лежит не сознательность, а призрачность. Нужен душевный мир — и только.

Нельзя даже с уверенностью сказать, как относятся сами выдумщики афоризмов к своим выдумкам: сознают ли они себя способными поддержать их, или последние приходят к ним случайно и принимаются исключительно на веру. Скорее всего, в этих случаях наиболее решительным образом влияет бесприютность жизни, умственная расшатанность и полное отсутствие реальных интересов. Нельзя же, в самом деле, бессрочно удовлетворяться культом какого-то «знамени», которое и само по себе есть не что иное, как призрак, и продолжительное обращение с которым может слу-

жить только в смысле подготовки к другим призракам. Поэтому переход от «знамени» к спиритизму, редстокизму и к исповеданию таких истин, как «уши выше лба не растут» или «терпение все преодолевает», вовсе не так неестествен, как это кажется с первого взгляда...

В последний раз я виделся с Крутицыным недавно. Я был уже во власти неизлечимого и тяжкого недуга, как он совершенно неожиданно навестил меня.

Приехал он в Петербург по крайнему случаю. В первый раз в жизни он испытал страшное горе: у него застрелился младший сын, прекрасный и многообещавший юноша, которому едва минуло осьмнадцать лет.

Молодой человек не успел еще сойти со школьной скамьи, а в существование его уже закралась двойственность. По-видимому, он не так легко, как отец и старший брат, принимал на веру россказни о свойствах «знамени», и та обязательность, с которою последние принимались в родной семье, сильно смущала его. Сам ли он дошел до каких-то неясных сомнений, или был наведен на них посторонним влиянием, — во всяком случае, в нем совершился внезапный и резкий перелом. Он рано начал анализировать свою жизнь, рано стал вглядываться в ожидавшее его будущее, так что в ту цветущую пору, когда испытываются одни радования жизни, он был уже угрюм и нелюдим. За несколько дней до катастрофы он окончательно задумался и затосковал. Приходя по праздникам к сестре, он невпопад отвечал на делаемые ему вопросы, забивался в угол и молчал. Страшно подумать, что в осьмнадцать лет жизнь может опостылеть и привести юношу исключительно к тому, что он думает только о том, как бы поскорее покончить расчеты с нею. Но в наше время господства призраков и этот

беспощадный призрак перестает казаться противоестественным. Скука и душевное утомление так велики, что даже возможность иных, более радужных перспектив в будущем искушает очень слабо. Левушка Крутицын был мальчик нервный и впечатлительный; он не выдержал перед мыслью о предстоящей семейной разноголосице и поспешил произнести суд над укоренившимися в семье преданиями, послав себе вольную смерть.

Старик Крутицын глубоко изменился, и я полагаю, что перемена эта произошла в нем именно вследствие постигшего его горя. Он погнулся, волочил ногами и часто вздрагивал; лицо осунулось, глаза впали и были мутны; волосы в беспорядке торчали во все стороны; нижняя губа слегка обвисла и дрожала.

— Здоровья тебе принес! — сказал он мне, стараясь приободриться, — еще не все для тебя кончено.

Он сел против меня, взял мои руки и, не выпуская их, долго и пристально смотрел мне в глаза. И я уверен, что в эти минуты прошлое всецело пронеслось перед ним, и он любил меня искренно, горячо.

Мы оба молчали. На этот раз, впрочем, молчание было содержательнее, нежели самый содержательный разговор.

Наконец, вдоволь насмотревшись, он встал и произнес:

— Ты, помнится, в былое время спрашивал меня о результатах, каких я достиг. Результаты — вот они! Дряхлая развалина и погибший сын!

С этими словами он безнадежно-тоскливо покачал головой и, пошатываясь, пошел из комнаты.

Больше мы не видались.

ИМЯРЕК

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?..

Конец жизненного пути приближается... Он уже явственно мелькает впереди, подобно тому, как перед глазами путника, вышедшего из лесной чащи, мелькает сквозь редколесье деревенское кладбище, охваченное реяньем смерти.

Имярек умирает.

Прародитель, лежа в проказе на гноище, у ворот города, который видел его могущество, богатство и силу, наверное, не страдал так сильно, как страдал Имярек, прикованный недугом к покойному креслу, перед письменным столом, в теплом кабинете. Другие времена, другие нравы, другие песни.

Во-первых, гноище в то время совсем не представлялось так страшным, как мы его живописуем. Вероятно, это было нечто вроде больницы. Заболеет кто-нибудь проказой (тогда и болезней других не было, кроме проказы): «Ах, несите его поскорее на гноище!» — Снесут и предоставляют выздоравливать или умирать — как знаешь. Напротив того, нынче даже в Калинкинскую больницу умирать не всякий идет. Гноищем сделалась собственная квартира умирающего, со всеми удобствами и приспособлениями, и даже с сестрой милосердия для ухода. И за всем тем это новое удобное гноище представляется нам еще более нестерпимым, нежели представлялось прародителям их старое гноище.

Во-вторых, не от одного развития вкусов и требований зависит увеличение суммы страданий, но и от того, что сами страдающие организмы существенно изменились.

Прародитель имел организм первоначальный, непочатой; он не знал, что такое нервы, какие бывают

болезни сердца, катары легких и т. п. Стало быть, физические боли были легче переносимы, нежели теперь. Но в особенности было для него выгодно отсутствие болей нравственных, от которых его спасал присущий древнему миросозерцанию закон предопределения. Напротив того, — Имярек весь состоял из нервов; болезнь его заключалась в нервном потрясении всего организма, осложненном и болезнью сердца, и катаром легких, и проч. Словом сказать, целая энциклопедия самых жгучих болей поселилась в нем, держала скованным и неотвязчиво сопровождала изо дня в день. Прародитель мог отлежаться на гноище; придут городские псы, залижут его раны — вот он и опять на ногах. Опять родной город делается свидетелем его могущества, богатства и силы — до новой проказы. Имярек ничего подобного в будущем не провидел, потому что и псов таких ныне нет, которые могли бы зализать те раны, которыми он страдал. Правда, лампада его жизни еще не угасла, но она и не горела, а только чадила. Долго ли будет она продолжать чадить — этого он определить не мог; но, по размышлении, оказывалось, что гораздо было бы лучше, если бы процесс этот кончился как можно скорее.

В-третьих, прародитель верил в свою невинность и мог утешать себя этим. «Меня, по крайней мере, то облегчает, — говорил он себе, — что я невинен!» Имярек вообще не признавал ни виновности, ни невиновности, а видел только известным образом сложившееся положение вещей. Это положение было результатом целой хитросплетенной сети фактов, крупных и мелких, разобраться в которых было очень трудно. Многие из этих фактов прошли незамеченными, многие позабылись, и, наконец, большинство хотя и было на виду, но спряталось так далеко и в таких извилинах, что восстановить их в строгой логической после-

довательности даже свободному от недугов человеку было нелегко. Чтобы изменить одну йоту в этом положении вещей, надобно было употребить громадную массу усилий, а кроме того, требовалась и масса времени. Целую такую же жизнь нужно было мысленно пережить, да и то, собственно говоря, существенного результата едва ли бы можно было достигнуть. Нанесенное, в минуту грубой запальчивости, физическое оскорбление так и осталось бы физическим оскорблением; сделанный в незапамятные времена пошлый поступок так и остался бы пошлым поступком. Просто ряд обусловленных фактов. А для прародителя даже фактов не существовало: до такой степени все в его жизни было естественно, цельно, плавно и невинно.

В-четвертых, прародитель надеялся, что явится в свое время «вихрь» и разнесет все недоразумения, жертвою которых он пал. Он сам не раз был свидетелем появления подобных вихрей, видал их собственными глазами. Имярек, воспитанный в идеях современного вольномыслия (не он один, а *все* в этих идеях воспитаны), относился к «вихрям» равнодушно, не помнил, чтобы когда-нибудь видел их, а потому и надеяться на их появление не мог. Он знал, что в условленный час придет доктор и что-нибудь пропишет. Настоящим образом это прописанное не избавит его от страданий, но сделает последние менее жгучими, даст возможность дождаться следующего дня. На следующий день Имярек получит другое средствице, которое поможет дождаться еще следующего дня, и т. д. Вечером, ложась спать, он будет думать: «Через семь часов опять утро, опять удручающий кашель, опять лекарство — хоть бы семь-то часов спокойно проспать!» Утром, вставая с постели, будет думать: «Вот и утро наступило! Ах, если бы поскорее оно прошло!» Затем — целый день одиночества, уныния, тоски и, наконец, опять

ночь. Зачем все эти утра, дни и ночи сменяют друг друга? Что дальше? Все это такие вопросы, которые прародителю и во сне не снились. А между тем в них-то именно и замыкается все мучение потухающей жизни.

Имярек мало-помалу вступил в тот фазис болезненного существования, когда людям здорового мира представляется возможным и даже естественным оказывать человеку всякого рода пренебрежение. Можно помнить о нем, но можно и забыть; можно интересоваться его положением, но можно и не интересоваться; можно навестить его, но можно и не навестить. Сам по себе человек утрачивает всякую цену или сохраняет ее лишь в той мере, в какой это удобно для того или другого лица. Идет мимо старый знакомый, гуляет: «А что, не зайти ли?» — и зайдет.

— А вы как будто похудели?

— Еще бы! Сколько времени не видались!

— Представьте себе, а мне кажется, точно вчера я вас видел! Но при этом я должен сказать, что бывал бы у вас чаще, да боюсь беспокоить!

— Ну, что уж...

— Да, похудели-таки вы. А все-таки, сравнительно с прошлым годом — помните? — большой и даже очень большой успех! Ну, прощайте, я тороплюсь!

Возьмет шляпу и уйдет. Но иногда и воротится.

— Да, чуть не забыл вам рассказать, что у нас в сферах делается... Умора!

— Не интересует это меня.

— Не интересует? Напрасно! Это вас развлекало бы, дало бы пищу для вашей наблюдательности. Ну, так прощайте. Я, в самом деле, тороплюсь.

Метеор промелькнул и исчез. Только очень немногие продолжают видеть в Имяреке человека, более нежели когда-либо нуждающегося в сочувствии. Но и у этих немногих — дела. Дела загромоздили весь

досуг; не осталось ни одной свободной минуты. Он один, Имярек, совсем свободен; для него одного предоставлен бесконечный досуг, формулируемый словами: забвенье, скука, тоска.

На дворе конец ноября, но зимы еще нет. День продолжается всего четыре часа, да и то мутный, наводящий уныние. В третьем часу зажигают огни, а вместе с ними обостряется и тоска. Все боли чувствуются вдвойне; несмотря на безусловный покой, организм поражен усталостью. Пробуждается память прошлого, припоминаются недавние связи, недавняя возможность передвижения, участия в жизни. Встают обиды, подозрительность, опасения... В сущности, положение и без того безнадежно, но окажется, что завтра ему предстоит сделаться еще более безнадежным. До каких пор дойдет это ухудшение? Ужели до гноища?

В бесконечные зимние вечера, когда белесоватые сумерки дня сменяются черною мглою ночи, Имярек невольно отдается осаждающим его думам. Одиночество, или, точнее сказать, оброшенность, на которую он обречен, заставляет его обратиться к прошлому, к тем явлениям, которые кружились около него и давили его своею массою. Что там такое было? К чему стремились люди, которые проходили перед его глазами, чего они достигали?

В ответ на эти вопросы, куда он ни обращал свои взоры, всюду видел мелочи, мелочи и мелочи... Сколько ни припоминал существований, везде навстречу ему зияло бессмысленное слово: «вотще», которое рассевало окрест омертвение. Жизнь стремилась вдаль без намеченной цели, принося за собой не осязательные результаты, а утомление и измученность. Словом сказать, это была не жизнь, а особого рода косность, наполненная призрачною суетою, которой, только ради установившегося обычая, присвоивалось наименование жизни.

Портретная галерея, выступавшая вперед, по поводу этих припоминаний, была далеко не полна, но дальше идти и надобности не предстояло. Сколько бы обликов ни выплыло из пучины прошлого, все они были бы на одно лицо, и разницу представили бы лишь подписи. Не в том сущность вопроса, что одна разновидность изнемогает по-своему, а другая по-своему, а в том, что все они одинаково только изнемогают и одинаково тратят свои силы около крох и мелочей.

Старцы и юноши, люди свободных профессий и люди ярма, люди белой кости и чернь — все кружится в одном и том же омуте мелочей, не зная, что, собственно, находится в конце этой неусыпающей суеты и какое значение она имеет в экономии общечеловеческого прогресса.

Такова была среда, которая охватывала Имярека с молодых ногтей. Живя среди массы людей, из которых каждый устраивался по-своему, он и сам подчинялся общему закону разрозненности. Вместе с другими останавливался в недоумении перед задачами жизни и не без уныния спрашивал себя: ужели дело жизни в том и состоит, что оно для всех одинаково отсутствует?

Да, именно только в этом. Разрозненность и отсутствие живого дела, как содержание жизни; одиночество и оброшенность — как венец ее.

Где же найти основы для общежития? Откуда взяться элементам для жизненных результатов, для прогресса?

Гнетомый этими мыслями, Имярек ближе и ближе всматривался в свое личное прошлое и спрашивал себя: что такое «друг» и «дружба» (этот вопрос занимал его очень живо — и как элемент общежития, и в особенности потому, что он слишком близко был связан с его настоящим одиночеством)? Что такое пред-

ставляет его собственная, личная жизнь? в чем состояли идеалы, которыми он руководился в прошлом? и т. д.

Были ли когда-нибудь у него друзья? Кажется, что-то вроде этого было. По крайней мере, он помнит себя в кругу живых людей, связанных с ним общим трудом, общими жизненными волнениями. Даже теперь, в том безусловном затишье, которое охватило его со всех сторон, перед ним вставали картины веселых собеседований и прочих упражнений, неразлучных с дружеством. Но этого мало: по временам прорывались и другие, более тонкие, признаки дружества: выражение сочувствия к его деятельности, образу мыслей, требование совета, постановка тревожащих совесть вопросов... Ужели этого недостаточно, чтобы наполнить самое широкое определение дружества?

Но, постепенно погружаясь в болезненный мрак, он мало-помалу стал разбираться в хаосе понятий, бóльшая часть которых принимается и усвоивается почти без всякой критики. Прежде всего он отделил выражения нравственного и умственного сочувствия и решил, что это явление совсем другого порядка, очень редко соединяющееся с понятием о дружбе в том смысле, в каком оно установилось для среднего уровня человеческой жизни. Выражения сочувствия могут радовать (а впрочем, иногда и растравлять открытые раны напоминанием о бессилии), но они ни в каком случае не помогут тому интимному успокоению, благодаря которому, покончивши и с деятельностью, и с задачами дня, можешь сказать: «Ну, слава богу! я покончил свой день в мире!» Такую помощь может оказать только «дружба», с ее предупредительным вниманием, с обильным запасом общих воспоминаний из далекого и близкого прошлого; одним словом, с тем несложным арсеналом теплого участия, который не дает обильной духовной пищи,

но несомненно действует ублажающим образом. Но что же, в сущности, означают выражения: «друг», «дружба»?

Обращаясь к фактам, Имярек пришел к убеждению, что у нас, по крайней мере, дружба имеет подкладку по преимуществу материального свойства. Друзья должны быть прежде всего здоровы, веселы, хлебосольны. А тонкий вкус в еде и в винах, уменье рассказывать анекдоты, оживлять общество легкой беседой — скрепляют дружбу и сообщают ей оттенок присутствия некоторого подобия мысли. Еще более скрепляют дружбу взаимные одолжения. Н. помог Т. проникнуть в такое-то учреждение; взамен того, Т. помог Н. купить по случаю пару лошадей. С. сбегал для Ф. за справкой в управу благочиния; Ф. за такой же справкой сбегал для С. в коммерческий суд. Никакого «образа мыслей» тут не нужно; напротив, «образ мыслей» только мешает, производит раскол, раздор, смуту.

Обыкновенно «дружба» начинается так. Встречаются X. и Z. в первый раз у случайного знакомого, — положим, хотя за обедом. X. в этот день особенно в ударе. Он сыплет остроумием, рассказывает анекдоты, из которых иные даже совсем новые. Хозяйка дома млеет от ликования; Z. превратился весь в слух, даже рот разинул. Никогда время не шло так быстро, никогда обед не был так оживлен. Хозяин мысленно говорит про X.: «Вот настоящий друг!» Z. дает себе слово сойтись с X. и залучить его на свои субботние обеды. На этих обедах тоже весело, даже «сцены из народного быта» рассказывают, — но все-таки не то, что нынче. И вот, улучив после обеда минуту, Z. подходит к X.

— Очень приятно было бы поближе познакомиться, — говорит он.

— Что ж, познакомимся.

— У меня по субботам обедцы бывают, так вот...

Впрочем, я надеюсь на днях лично быть у вас. Надеюсь, что и жены наши...

— Что ж, и жен одной веревочкой свяжем! — шутит X., уже провидя в Z. будущего друга.

Обменялись визитами, сперва сами, потом жены, а накануне одной из ближайших суббот X. получает от Z. записку:

«Не приедете ли завтра откушать запросто? Будут: тайный советник Стрекоза, сенатор Чистописцев, наш общий друг Сермягин и Иван Федорович Горбунов. Дам не будет, кроме жены, которая никого не стеснит. Обедаем в 6 ½ часов».

Уже с самой закуски начинается «дружба». Закуска великолепная. Свежая икра, янтарный балык, страсбургский паштет, сыры, сельди, грибы, рыжички... Но недостает... семги! X. всего отведывает, а некоторого даже по два раза, но чувствует, что чего-то недостает. И, сознавая себя уже «другом», без церемонии обращается к хозяину:

— Прекрасная у вас икра, да и вообще вся закуска... Но кабы ваша милость была сёмужкой попотчевать...

— Семги! — восклицает встревоженный хозяин и с немым укором смотрит на жену. — Эй, Родивон! живо!

Отдается приказание, бегут сломя голову в ближайшую бакалейную лавку — и через пять минут семга уже на столе. Сочная, розовая, тающая... масло! Словом сказать, сразу приобретается для дружбы такой фундамент, которого никакие ураганы не разрушат!

Таковы начальные основания истинной «дружбы».

Были ли у Имярека такие друзья? Был ли он сам таким другом? Конечно, был, но чего-то как будто недоставало. Быть может, именно сёмужки. Он был когда-то здоров, но никогда настолько, чтобы быть

настоящим другом. Он бывал и весел, но опять не настолько, сколько требуется от «друга». Анекдотов он совсем не знал, гастрономом не был, в винах понимал очень мало. Жил как-то особняком, имел «образ мыслей» и даже в манерах сохранял нечто резкое, несовместное с дружелюбием.

Ясно, что если бы и могли, при таких условиях, образоваться зачатки дружбы, то они не долго бы устояли ввиду такого испытания, как тяжелая, безнадежная болезнь.

«Ну-с, прощайте! тороплюсь!» — повторял он мысленно обычный посетительский припев, и это было самое большее, на что он мог в настоящее время рассчитывать, с точки зрения дружества.

Говорят, будто и умственный интерес может служить связующим центром дружества; но, вероятно, это водится где-нибудь инде, на «теплых водах». Там существует общее дело, а стало быть, есть и присущий ему общий умственный интерес. У нас все это в зачаточном виде. У нас умственный интерес, лишенный интереса бакалейного, представляется символом угрюмости, беспокойного нрава и отчужденности. Понятно, что и дружелюбие наше не может иметь иного характера, кроме бакалейного.

Затем Имярек подвергал анализу самую жизнь свою. Была ли эта жизнь такова, чтобы притягивать к себе людей даже в годину испытания? В чем состояло ее содержание?

Какие она дала результаты?

Увы, на все эти вопросы он мог дать ответы очень и очень сомнительного свойства...

Жизнь его была заурядная, серая жизнь человека, отдавшего себя известной специальности. Он был писатель по природе (с самых юных лет он тяготел к литературе), но ничего выдающегося не произвел и не «жег глаголом сердца людей». Правда, что в каждой

строке, им написанной, звучало убеждение, — так, по крайней мере, ему казалось, — но убеждение это, привлекая к нему симпатии одних, в то же время возбуждало ненависть в других. Симпатии утопали в глубинах читательских масс, не подавая о себе голоса, а ненависть металась воочию, громко провозглашая о себе и посылая навстречу угрозы. Около ненависти группировалась и обычная апатия среднего человека, который не умеет ни любить, ни ненавидеть, а поступает с таким расчетом, чтобы в его жизнь не вкралось недоумение или неудобство. Такое сомнительное содержание жизни Имярека должно было дать и соответственные результаты. А именно: в смысле общественного влияния — полная неизвестность; в смысле личной жизни — оброшенность, пренебрежение, почти поругание.

Имярек припоминал имена лиц, бывших когда-то близкими ему, — и почти всюду встречал хоть намеки на обстановку. Его же личная обстановка имела название: оброшенность. Да, есть известная категория деятелей (литературных и иных), которые никакого другого результата и достигнуть не могут. Недаром Некрасов называл «блаженным» удел незлобивого поэта, но и недаром он предпочел остаться верным «музе мести и печали». Последняя вносит в жизнь известный ореол, который самой оброшенности может сообщить характер гордости и силы. Но ведь на поверку все-таки выходит, что человек, даже осиянный ореолом, не перестает быть обыкновенным средним человеком и, в конце концов, ищет теплого дружеского слова, пожатия дружеской руки. Отсутствие этих признаков среднечеловеческого существования действует так удручающе, что многих, несомненно сильных, заставляет отступать.

К счастию, Имярек, по самой природе своей, по всему складу своей жизненной деятельности, не мог не

остаться верным той музе, которая, однажды озарив его существование, уже не оставляла его. У него и других слов не было, кроме тех, которые охарактеризовали его деятельность, так что если бы он даже хотел сказать нечто иное, то запутался бы в своих усилиях. Одного бы не досказал, в другом перешел бы за черту и, в конце концов, еще более усилил бы раздражение.

Какие же были идеалы, которые он лелеял в течение своей жизни? Увы! В этом отношении он развивался очень медленно и трудно.

Еще в ранней молодости он уже был идеалистом; но это было скорее сонное мечтание, нежели сознательное служение идеалам. Глядя на вожаков, он называл себя фурьеристом, но, в сущности, смешивал в одну кучу и сенсимонизм, и икаризм, и фурьеризм, и скорее всего примыкал к сенсимонизму. В особенности его пленяла Жорж Занд в своих первых романах. Он зачитывался ими до упоения, находил в них неисчерпаемый источник той анонимной восторженности, которая чаще всего лежит в основании юношеских верований и стремлений. Были слова (добро, истина, красота, любовь), которые производили чарующее действие, которые он готов был повторять бесчисленное множество раз и, слушая которые, был бесконечно счастлив. Если бы от него потребовали наполнить эти слова содержанием, он удивился бы — до того они представлялись ему несомненными и обязательными, до того его прельщал самый звук их.

Но, повторяю, это было лишь сонное видение, которое, впрочем, не мешало жить, «как другие живут» (дело было в самый разгар крепостного права и обязательной бюрократической деятельности), и которое рассеялось при первом же столкновении с действительностью. Столкновение это не замедлило.

По обстоятельствам, он вынужден был оставить

среду, которая воспитала его радужные сновидения, товарищей, которые вместе с ним предавались этим сновидениям, и переселиться в глубь провинции. Там, прежде всего, его встретило совершенное отсутствие сновидений, а затем в его жизнь шумно вторглась целая масса мелочей, с которыми волей-неволей приходилось считаться.

Юношеский угар соскользнул быстро. Понятие о зле сузилось до понятия о лихоимстве, понятие о лжи — до понятия о подлоге, понятие о нравственном безобразии — до понятия о беспробудном пьянстве, в котором погрязало местное чиновничество. Вместо служения идеалам добра, истины, любви и проч., предстал идеал служения долгу, букве закона, принятым обязательствам и т. д.

Отделял ли в то время Имярек государство от общества — он не помнит; но помнит, что подкладка, осевшая в нем вследствие недавних сновидений, не совсем еще была разорвана, что она оставила по себе два существенных пункта: быть честным и поступать так, чтобы из этого выходила наибольшая сумма общего блага. А чтобы облегчить достижение этих задач на арене обязательной бюрократической деятельности, — явилась на помощь и целая своеобразная теория.

Сущность этой теории заключалась в том, чтобы практиковать либерализм в самом капище антилиберализма. С этою целью предполагалось наметить покладистое влиятельное лицо, прикинуться сочувствующим его предначертаниям и начинаниям, сообщить последним легкий либеральный оттенок, как бы исходящий из недр начальства (всякий мало-мальски учтивый начальник не прочь от либерализма), и затем, взяв облюбованный субъект за нос, водить его за оный. Теория эта, в шутливом русском тоне, так и называлась теорией вождения влиятельного человека за нос,

или, учтивее: теорией приведения влиятельного человека на правый путь.

В оправдание этой теории приводилось то соображение, что вся история русского прогресса шла именно таким путем. Либерал прикидывался выполняющим предначертания и затем сообщал этим предначертаниям тот смысл, который признавался наиболее полезным. Не нужно дразнить, напротив, нужно сглаживать. Не нужно выставлять вперед свою инициативу, а, напротив, делать вид, что сам проникаешься начальственною инициативою. Тогда мало-помалу образуется в облюбованном человеке привычка либерализма, исчезнет страх перед либеральными словами — и в результате получится прогресс.

Все в этой теории казалось так ясно, удободостижимо и вместе с тем так изобильно непосредственными результатами, что Имярек всецело отдался ей. Провинция опутала его сетями своей практики, которая даже и в наши дни уделяет не слишком много места для идеалов иной категории. Идеал вождения за нос был как раз ей по плечу. Он не требует ни борьбы, ни душевного горения, ни жертв — одной только ловкости.

Имярек ничего этого не замечал. Ему предстояла деятельность, наполненная такими кипучими насущными подробностями, за которыми исчезала всякая руководящая нить. Дело сводилось к личностям; порядок вещей ускользал из вида. Казалось, что преуспеяние пойдет шибче и действительнее, ежели станового Зябликова заменит становой Синицын. Синицын менее нахален. Он не станет набрасываться, как волк, на обывателей, не наполнит стана гамом скверных слов. Он будет иметь в виду начальственные требования и поставит себе в обязанность проводить начальственную мысль. А ежели Синицын не оправдает доверия, то можно и его сменить. Тем временем Зябли-

ков, наголодавшись и нахолодавшись в отставке, раскается и явится как раз кстати, чтоб заменить Синицына.

Переливая таким образом из пустого в порожнее, Имярек совсем забыл о критической оценке новоявленной теории. А между тем это было далеко не лишнее. Независимо от того, что намеченные носы не всегда охотно подчинялись операции вождения, необходимо было, однажды вступив на стезю уступок, улаживаний и урезываний, поступаться более цельными убеждениями, изменять им. «Носы» подозрительны и требуют, чтобы вожаки отдавались им всецело, так сказать, не отлучались от них. Чуть замешивалась в этот двойственный союз третья, не вполне подходящая, личность — и процесс вождения за нос прекращался сам собой. Вообще предприятие было скучное, хлопотливое, тяжелое. Приходилось слушать неумные речи, намеки, укоры, приходилось сознавать, что, в сущности, господином положения остается все-таки «нос», а вожак состоит при нем лишь в роли приспешника, чуть не лакея. Но тяжелее всего было то, что, как ни своди дело к личностям, из-за последних все-таки выскакивал «порядок вещей», а тут уже прямо выказывалась полная несостоятельность усвоенного идеала. Не с Зябликовыми и Синицыными можно достигнуть даже того скудного результата, который первоначально мелькал в перспективе. Зябликовы и Синицыны настолько неразвиты, забиты и пьяны, что даже не могут понять, что от них требуется какой-нибудь результат.

Таков был первый фазис теоретических блужданий, среди которых в течение многих лет вращалась жизнь Имярека. Очевидно, это был фазис будничный, заурядный, свойственный каждому шустрому канцеляристу.

Затем Имярек вновь очутился в центре «большой деятельности» (в отличие от малой, провинциальной).

Это было время, когда все носы, и водящие и водимые, смешались, когда мертвые встали из гробов и ринулись навстречу проглянувшему лучу света. Вместе с другими потянулся к лучу и Имярек.

Эпоха возрождения была довольно продолжительна, но она шла так неровно, что трудно было формулировать сколько-нибудь определенно сущность ее. Возрождение — и рядом несомненные шаги в сторону и назад. Движение — и рядом застой. Надежды — и рядом отсутствие всяких перспектив. Ни положительные, ни отрицательные элементы не выяснялись настолько, чтобы можно было сказать, какие из них имели преобладающее значение в обществе. Мало этого: представлялось достаточно признаков для подозрения, что отрицательные элементы восторжествуют, что на их стороне и соблазн и выгода. К чести Имярека должно сказать, что он не уступил соблазнам, а остался верен возрождению, движению и надеждам.

Это было самое кипучее время его жизни, время страстной полемики, усиленной литературной деятельности, переходов от расцветания к увяданию и проч. Во всяком случае, не чувствовалось той пошлости, того рассудительного тупоумия, которое преследовало его по пятам в провинции.

Лозунг его в то время выражался в трех словах: свобода, развитие и справедливость. Свобода — как стихия, в которой предстояло воспитываться человеку; развитие — как неизбежное условие, без которого никакое начинание не может представлять задатков жизненности; справедливость — как мерило в отношениях между людьми, такое мерило, за чертою которого должны умолкнуть все дальнейшие притязания.

Тогда он был здоров, общителен и деятелен. Он и не подозревал, что будущее готовит ему оброшенность...

И вот теперь, скованный недугом, он видит перед собой призраки прошлого. Все, что наполняло его жизнь, представляется ему сновидением. Что такое свобода — без участия в благах жизни? Что такое развитие — без ясно намеченной конечной цели? Что такое справедливость, лишенная огня самоотверженности и любви?

Слова, слова и слова...

Он чувствует, что сердце его горит и что он пришел к цели поисков всей жизни, что только теперь его мысль установилась на стезе правды...

Он простирает руки, ищет отклика, он жаждет идти, возглашать...

И сознает, что сзади у него повис ворох крох и мелочей, а впереди — ничего, кроме одиночества и оброшенности...

ПРИМЕЧАНИЯ

Настоящее издание «Мелочей жизни» не включает злободневно-публицистические части цикла, требующие для понимания их современным читателем обстоятельного историко-литературного и реального комментария, не предусмотренного в серии «Народная библиотека».

Стр. 17. *...к наступлению летнего мясоеда...* — то есть к концу июня (летний мясоед наступает с 29 июня, с Петрова дня).

Стр. 18. *...своего хлеба у него хватит до масленой.* — Масленая неделя (масленица) приходится на конец зимы.

Стр. 20. *...рождественский мясоед...* — время от праздника Рождества (25 декабря) до масленой недели.

Стр. 21. *...на Красную горку...* — Красная горка — первая неделя после пасхальной (обычно приходится на апрель).

Стр. 37. *...куда мы, наконец, идем?* — Лейтмотив многочисленных статей реакционной прессы на тему о положении в России после двадцатилетия либеральных реформ, в начале 80-х годов.

Стр. 46. *Любимыми авторами его были французские доктринеры времен Луи-Филиппа...* — Доктринеры — политический кружок сторонников конституционной монархии, образовавшийся во Франции в период Реставрации, после падения Наполеона I. Многие из доктринеров, в том числе названные далее Гизо, Дюшатель, Вильмен, находясь в оппозиции накануне революции 1830 года, после революции, в эпоху короля Луи-Филиппа, играли значительную, хотя и неодинаковую политическую роль.

Стр. 53. *...данные о необходимости восстановить заставы и шлагбаумы...* — Заставы и шлагбаумы — эзоповское, иносказательное обозначение всякого рода запретительных и карательных мер.

Стр. 76. *...схоронили у Митрофания...* — на кладбище для бедных.

Стр. 77. *Нет, вздумал странствовать один из них, лететь...* — Из басни И. А. Крылова «Два голубя» (1809).

Стр. 78. *...а там куплю на твое имя двести десятин болота, и в члены попадешь.* — Двести десятин земли — иму-

щественный ценз, необходимый для баллотировки в члены земской управы.

Стр. 82. *...за лекции около двадцати пяти рублей за первое полугодие уплатить нужно, да мундирчики нынче требуются...* — Университетским уставом 1884 года вводилась плата за право посещения студентами университетских лекций. Форма, упраздненная в 1861 году, была восстановлена в мае 1885-го.

Стр. 98—99. *m-lle Тюрбо... m-lle Эперлан.* — Здесь и далее все фамилии учителей — со значением. Turlot (*франц.*)— палтус; eperlan (*франц.*) — корюшка; essbouquet — название французских духов; Кейнгерух (*нем.* — Keingeruch) — без запаха; Шушату (*от франц.* touche à tout) — непоседа.

Стр. 106. *...князь Сампантре́.* — Прототипом этого часто появляющегося на страницах произведений Салтыкова-Щедрина персонажа был знаменитый богач-заводчик П. П. Демидов, купивший себе титул князя Сан-Донато.

Стр. 108. *...вышла из института...* — То есть из так называемого института благородных девиц — закрытого учебного заведения для девушек из дворянских семей. В московских институтах — Александровском и Екатерининском — учились дочери мелкопоместных дворян.

Стр. 119. *...скоро и совсем земства похерят...* — Хотя действие рассказа происходит, по-видимому, в начале 70-х годов, рассуждение мирового судьи о судьбах земства отражает яростные нападки реакционеров 80-х годов на это либеральное учреждение, созданное реформами годов 60-х. «Похерить» земство предполагалось земской контрреформой, одно из положений которой сформулировал министр внутренних дел гр. Д. А. Толстой в докладе Александру III от 18 декабря 1886 года: «Земские и городские учреждения должны быть введены в общий строй государственных установлений. Лежащие в основе сих учреждений начала общественного самоуправления должны быть заменены началом государственного управления», то есть принципом самодержавия.

Стр. 126. *...без всякой винословности* — без причинной зависимости, случайно, хаотично.

Стр. 157. *...в качестве пепиньерки...* — Пепиньерка — ученица из числа «бедных и способных воспитанниц», оставленная в институте по окончании его для подготовки, в так называемом «пепиньерском классе», к занятию места классной дамы.

Стр. 169. *«Фрейшютц»* («Freischütz» — «Вольный стрелок») — опера Вебера, на русской сцене шла под названием «Волшебный стрелок».

Стр. 204. *Тверская улица как будто присмирела, Кузнецкий мост — тоже, но зато в «Городе», на Ильинке, на Никольской...* — Тверская улица и Кузнецкий мост — аристократические районы Москвы, где были расположены богатые дворянские особняки и блестящие, главным образом французские магазины. « Город », или Китай-город, — часть Москвы между Красной площадью и Китайгородской стеной; «здесь производилась главнейшая московская торговля и были ряды и лавки, в которых продавались всевозможные необходимые товары...» (М. И. Пыляев. Старая Москва. СПб., 1891, с. 422). Через Китай-город проходили три оживленные торговые улицы, вливавшиеся в Красную площадь, — Никольская (ныне ул. 25 Октября), Ильинка (ныне ул. Куйбышева) и Варварка (ныне ул. Разина).

Стр. 215. *...служить по выборам* — то есть по выборам сословных дворянских учреждений, возглавлявшихся предводителем дворянства.

Стр. 223. *...удалялись от коронной службы...* — Коронная служба — служба в государственных учреждениях.

Стр. 226. *...вынужден был оставить Петербург и удалиться в глубь провинции.* — Автобиографическая деталь: здесь и далее речь идет о ссылке Салтыкова в Вятку, последовавшей в апреле 1849 года.

Стр. 228. *...железный путь от Москвы до Петербурга был уже открыт.* — Петербургско-Московская (Николаевская) железная дорога была открыта в 1851 году.

Стр. 229. *...прибаутки Кокорева, его возню с севастопольскими героями... кутежи в Ушаках...* — В. А. Кокорев — богач, владелец винных откупов. «В Крымскую войну ⟨Кокорев⟩ из своих рук поил водкой и кормил калачами ополченцев и всенародно кланялся им в ноги от лица благодарного отечества, что не мешало ему одновременно то же отечество опустошать посредством своих кабаков» (Вл. Михневич. Наши знакомые. СПб., 1884, с. 105). Ушаки — имение Кокорева.

...печать... повысила тон... провинциальная юродивость всплыла наружу... городничие, исправники и... начальники края не на шутку задумались... обращал на себя внимание возникавший «Русский вестник». — Речь идет об оживлении русской общественной жизни после смерти Николая I в 1855 году. Это оживление выразилось прежде всего в некотором ослаблении цензурного гнета, появлении возможностей для обсуждения в печати некоторых политических вопросов. «Обличительное направление», образовавшееся в это время в литературе, «обнаруживало» и «обличало» русское провинциальное чиновничество («провинциальную юродивость»). Возникший в это время журнал «Русский вестник» обращал на себя внимание прежде всего «Губернскими очерками» самого Салтыкова, в которых, в частности, были даны портреты «юродивых», то есть провинциальных чиновников.

Стр. 230. *Мельмот-Скиталец* — герой одноименного романа английского писателя-романтика Ч.-Р. Мэтьюрина.

Стр. 233—234. *...до вожделенного 3-го пункта...* — Третий пункт закона от 7 ноября 1850 года позволял увольнять неспособного чиновника без объяснения причин и права возвращения на службу.

Стр. 237. *В прессе, рядом с «рабьим языком», народился язык холопский... смесь наглости, лести и лжи...* — «Рабьим», эзоповым языком как средством обсуждения насущных проблем современности вынуждена была пользоваться демократическая печать, и прежде всего сам Салтыков. От «рабьего языка» принципиально отличается язык «холопский», то есть язык публицистики реакционной, претендовавшей на руководящую политиче-

скую роль и вместе с тем пресмыкавшейся перед самодержавной властью.

Стр. 239. *...ни один помещик не продал ни пяди занадельной земли... господствовал преимущественно сиротский надел...* — Занадельная земля — помещичья, оставшаяся за наделением землею крестьян. Мелкопоместные и частично среднепоместные землевладельцы, не имея средств и навыков для ведения хозяйства в новых, пореформенных условиях, продавали свою занадельную землю. Сиротский надел — минимальный надел, установленный крестьянской реформой 1861 года; такой надел не мог обеспечить крестьян средствами к существованию, вновь закабалял их помещику.

Стр. 242. *...он познал свет истины.* — Речь идет о распространившемся в дворянских кругах середины 70-х годов религиозном сектанстве, в частности, редстокизме, аристократической секте, получившей название по имени ее основателя, проповедника лорда Редстока.

Стр. 246. *О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?* — строки из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

Стр. 249. *...что у нас в сферах делается...* — то есть на верхах бюрократической власти.

Стр. 253—254. *...«сцены из народного быта» рассказывают... Иван Федорович Горбунов...* — Актер и писатель И. Ф. Горбунов был создателем особого рода устных рассказов на темы из мещанской и крестьянской жизни (неоднократно издавались под названием «Сцены из народного быта»).

Стр. 255. *...на «теплых водах»...* — то есть за границей.

...«жег глаголом сердца людей» — неточная цитата из стихотворения Пушкина «Пророк».

Стр. 256. *Недаром Некрасов называл «блаженным» удел незлобивого поэта, но и недаром он предпочел остаться верным «музе мести и печали».* — Салтыков-Щедрин вспоминает два стихотворения Некрасова: «Блажен незлобивый поэт...» и «Замолкни, Муза мести и печали!..»

К. Тюнькин

СОДЕРЖАНИЕ

Салтыков-Щедрин М. Е.

С16 Мелочи жизни. Вст. ст. и примеч. К. Тюнькина. Худ. А. Зыков. М., «Худож. лит.», 1975

272 с. (Народная б-ка).

«Мелочи жизни» написаны М. Е. Салтыковым-Щедриным на исходе его жизни, в эпоху 80-х годов. На примере нескольких жизнеописаний Щедрин показывает здесь, как «терзающие», «горькие» «мелочи», составляющие весь строй жизни, жизни государственной и общественной, определяют безысходный трагизм существования человека.

Из книги «Мелочи жизни» в данное издание включены только художественные очерки, наиболее доступные для широкого читателя.

Р1

С $\frac{70301\text{-}256}{028(01)\text{-}75}$ 25-75

Михаил Евграфович

Салтыков-Щедрин

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ

Редактор
В. Пересыпкина
Художественный редактор
А. Виноградов
Технический редактор
О. Ярославцева
Корректор
И. Филатова

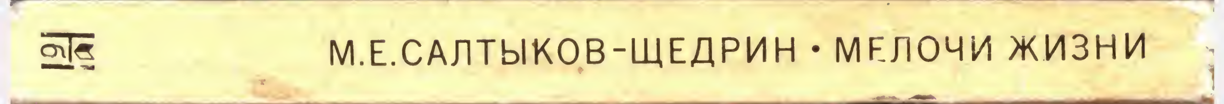
Сдано в набор 14/XI 1974 г. Подписано к печати 11/IV 1975 г. Бумага типограф. № 2. Формат 70x100 1/32. 8,5 печ. л. 11,016 усл. печ. л. 11,832 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2065. Цена 36 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфический комбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Калинин, пр. Ленина, 5.

36 коп.

0-30


М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН • МЕЛОЧИ ЖИЗНИ